

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

4

1989



ИЗДАТЕЛЬСТВО
• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

ИЮЛЬ—АВГУСТ

4

1989

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1965
ГОДУ

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Гиренко Ю. С.</i> В борьбе за интересы трудящихся (К 70-летию Союза коммунистов Югославии) . . .	3
<i>Дьяков В. А.</i> Либеральная и либерально-демократическая интерпретация славянского вопроса в русской общественной мысли. А. Д. Градский (1841—1889) и А. Н. Пышин (1833—1904) . . .	17
<i>Кулаковская Д.</i> (ПНР). Славянская идея в творчестве Достоевского	25
<i>Богомолова Н. А.</i> Польские поэты XX в. в переводе Анны Ахматовой	40

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

<i>Горяинов А. Н.</i> Славяноведение в Московском университете (1917—1927): из истории преподавания славистических дисциплин и организации цикла южных и западных славян	51
--	----

К VI МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНГРЕССУ БАЛКАНИСТОВ

Балканская картина мира в этноязыковом и культурно-историческом аспекте	62
---	----

ПОРТРЕТЫ

<i>Невская Т. В.</i> Станислав Павлович Микуцкий: вклад в славянское языкознание	80
--	----

СООБЩЕНИЯ

<i>Мурьянов М. Ф.</i> Несколько уточнений к «Словарю языка Скорины»	86
---	----

ПУБЛИКАЦИИ

<i>Флоренский П. А.</i> Троице-Сергиева Лавра и Россия	95
--	----

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Свободное поле науки (обзор писем) 107

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Волокитина Т. А. Ф. Носкова. Крестьянское политическое движение в Польше. Сентябрь 1939 — весна 1948 г. 109
Попков В. С., Косик В. И. Историография истории южных и западных славян 111
Лециловская И. И. «Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і культури України 113
Иванова Т. А. Н. В. Косек. Евангелие Кохно. Болгарский памятник XIII в. 115
Пуцко В. Г. George P. Majeska. Russian travelers to Constantinople in the fourteenth and fifteenth centuries 117

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

Наумов Е. П. Л. Славева, В. Мошин. Српски грамоти од Душаново време 119
Бочкарева М. Н. Вера Лихачова. Етюди по средновековно изкуство: Византия / България / Русия 120
Кудрявцева Е. П. Лицеј 1838—1863. Зборник докумената 121

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Яворская Г. М. Памяти выдающегося слависта 122
 Юбилей 126
 Письма в редакцию 127

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. К. КАВКО (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,
 А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, А. А. ЗАЛИЗНЯК, М. С. КАШУЕА,
 В. П. КОЗЛОВ, М. Н. КУЗЬМИН, Г. Г. ЛИТАВРИН (зам. главного редактора),
 Г. Ф. МАТВЕЕВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, А. Ф. НОСКОВА,
 Л. Н. СМИРНОВ (зам. главного редактора), Л. А. СОФРОНОВА, Б. Н. ФЛОРЯ

Адрес редакции: 121069, Москва Г-69, Трубниковский пер., д. 30а

Телефон 290-27-40

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*



ГИРЕНКО Ю. С.

В БОРЬБЕ ЗА ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ (К 70-летию Союза коммунистов Югославии)

Коммунистическая партия Югославии — выразитель коренных интересов югославских трудящихся, родилась в обстановке подъема рабочего движения в Югославии под воздействием идей Великого Октября. Как отмечал выдающийся руководитель трудящихся Югославии, крупный деятель международного коммунистического движения И. Броз Тито, в ее создании «видную роль сыграли коммунисты, вернувшиеся из Советской России и работавшие там в различных югославских коммунистических группах и организациях» [1, с. 37—38].

Уже 16 мая 1918 г. наиболее передовые и сознательные югославы, находившиеся в СССР, «руководствуясь принципами марксистского научного социализма и III Интернационала, а также опытом революции и тактикой Всероссийской коммунистической партии», учредили в Москве «Югославянскую коммунистическую эмигрантскую партию» [2, с. 111]. 16 июня 1918 г. был принят Учредительный устав Югославянской группы РКП(б), в котором подчеркивалось, что она «теоретически и практически стоит на платформе Российской коммунистической партии (большевиков)» [2, с. 129; 3, с. 127]. 5 ноября 1918 г. члены этой группы решили основать Коммунистическую партию (большевиков) сербов, хорватов и словенцев.

20—23 апреля 1919 г. в Белграде на I Объединительном съезде ряда порвавших с политикой II Интернационала социал-демократических и социалистических групп, организаций и партий югославянских земель была создана Социалистическая рабочая партия Югославии (коммунистов) — СРПЮ(к). Руководящую роль в ней играли революционеры Филип Филипович, Джуро Джакович, Владимир Чошич, Марко Машанович и др. Приняв решение присоединиться к III Интернационалу, партия с первых дней своего существования активно выступала в защиту завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции.

В июне 1920 г. на II съезде в г. Вуковаре СРПЮ(к), насчитывавшая более 65 тыс. членов, была переименована в Коммунистическую партию Югославии (КПЮ). Принятая Программа КПЮ исходила из принципов пролетарского интернационализма и ставила главной целью осуществление социалистической революции и установление диктатуры пролетариата в Югославии [4, с. 71].

Быстрый рост влияния КПЮ (на выборах в Учредительную скупщину в ноябре 1920 г. она завоевала 59 из 419 мандатов, выйдя таким образом на третье место по числу поданных за нее голосов) [4, с. 75], напугал реакцию, которая повела методичное наступление на нараставшее в стране революционное движение. Главный удар был нанесен по КПЮ: приня-

Гиренко Юрий Степанович — канд. ист. наук, сотрудник Международного отдела ЦК КПСС.

тый в ночь с 29 на 30 декабря 1920 г. декрет «Обзнана» запретил деятельность КПЮ, а в августе 1921 г., в соответствии с так называемым Законом о защите государства, она была объявлена вне закона и, по сути дела, разгромлена (ее численность составляла тогда менее 1 тыс. человек) [4, с. 79].

В этот крайне тяжелый момент, когда КПЮ вынуждена была перейти на нелегальное положение, с воззванием «К пролетариату Югославии» обратился 13 августа 1921 г. Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала, выразивший уверенность в том, что в упорном бою с объединенными силами буржуазии пролетариат Югославии будет иметь на своей стороне не только симпатии, но и деятельное содействие коммунистических партий всего мира и Коммунистического Интернационала [5, с. 618].

В те годы Коминтерн помог организационно укрепить многие коммунистические партии. Большую помощь в деле усиления внутреннего единства, преодоления групповщины и сектантства, реформистских иллюзий оказал он и Коммунистической партии Югославии. Вопросы, связанные с положением в КПЮ, рассматривались на IV конгрессе Коминтерна в ноябре — декабре 1922 г., на V расширенном пленуме Исполкома Коминтерна в марте — апреле 1925 г., на Президиуме ИККИ в апреле 1926 г. В марте 1925 г. Исполкомом Коминтерна была создана специальная комиссия для изучения положения в КПЮ и выработки мер по оздоровлению руководства партией. Отмечая недостаточно твердую коммунистическую ориентацию КПЮ, Коминтерн настаивал на необходимости искоренения фракционности, преодоления оппортунистических взглядов, ослабляющих боеспособность КПЮ; был высказан ряд пожеланий по национальному, аграрному, организационному и другим вопросам, которые были учтены III съездом КПЮ, состоявшимся в Вене в мае 1926 г. Под влиянием преобладавших в Коминтерне настроений «революционного нетерпения», вытекавших из концепции мировой революции, III съезд КПЮ записал в своих решениях, что «и в условиях относительной стабилизации европейского капитализма на Балканах и в Югославии»... «не закрывается революционная перспектива», ввиду чего «основной задачей партии является подготовка революции» [4, с. 102]. В соответствии с установками Коминтерна «полное решение» национального вопроса увязывалось с перспективой создания путем революционной борьбы федерации рабоче-крестьянских республик на Балканах.

Находясь в догматическом плену ряда сектантских установок своей политической программы, раздираемая фракционными конфликтами малочисленная КПЮ (к 1926 г. в ее рядах состояло 2300 человек) не была в состоянии в условиях постоянных гонений и репрессий в полной мере включиться в основные процессы политической жизни Королевства сербов, хорватов и словенцев. К концу 20-х годов борьба за единство партийных рядов, прежде всего в руководящем звене, разгорелась с новой силой. Ее эпицентром стала одна из самых крупных и сильных партийных организаций в стране — парторганизация г. Загреба, организационным секретарем которой в начале 1928 г. стал Иосип Броз. Проведенная в конце февраля 1928 г. VIII конференция этой организации, на которой И. Броз, выступив с содокладом, подверг критике «фракционность, сектантство и групповщину» в партии в целом, в том числе в работе «левацкого» большинства загребского горкома [7, с. 8; 4, с. 104], сформулировала линию, направленную на активизацию практической работы в массах, развитие связей партии с промышленными рабочими, на повышение идеологического уровня коммунистов. Получивший поддержку большинства, И. Броз был избран политическим секретарем Загребского горкома КПЮ. Конференция обратилась в Исполком Коминтерна «с просьбой вмешаться и принять энергичные меры для ликвидации фракционной борьбы в КПЮ» [6, с. 38]. Были определены делегаты для участия в совещании в Коминтерне по вопросу положения в КПЮ, утверждены специальные директивы, которыми они должны были руководствоваться. Как отмечал впоследствии И. Броз Тито, в результате этой акции Исполком Коминтерна направил 13 апреля 1928 г. всем членам КПЮ так называемое «Открытое пись-

мо» [6, с. 38—39; 7, с. 14; 8, с. 447—453] к коммунистам Югославии, призывавшее преодолеть фракционную борьбу в партии. «Глубже в массы! — вот тот лозунг, который сейчас должен стать словом и делом всей КПЮ», — подчеркивалось в этом документе [8, с. 452—453; 4, с. 103].

Откликаясь на этот призыв, югославские коммунисты активизировали свою революционную деятельность, на что власти ответили усилением репрессий. В августе 1928 г. был арестован и осужден на пять лет и 7 месяцев каторги 36-летний руководитель загребских коммунистов И. Броз.

Очередной, IV съезд КПЮ (ноябрь 1928 г., г. Дрезден), одобрив «Открытое письмо» Исполкома Коминтерна, наметил задачи партии по проведению в жизнь его рекомендаций, по руководству классовой и национально-освободительной борьбой трудящихся Югославии. Как подчеркивал И. Броз Тито, с помощью «Открытого письма» «началась мобилизация... преданных партии кадров с целью ликвидации фракционной борьбы и групповщины» [7, с. 14].

Вместе с тем на решения IV съезда КПЮ наложили отрицательный отпечаток сектантско-догматические ошибки в деятельности Коминтерна в послеленинский период, в частности навязанная ему Сталиным и Зиновьевым установка о социал-демократии как пособнике и близнеце фашизма, извратившая идею В. И. Ленина о важности развертывания общенародной борьбы против капитала и реакции, а также отдававший авантюризмом курс на фронтальную революционную атаку, социалистические революции. Исходя из оценок VI конгресса Коминтерна об обострении общего кризиса капитализма и «предреволюционной ситуации», ЦК КПЮ в духе соответствующих решений IV съезда КПЮ выдвинул в ответ на установление в стране в январе 1929 г. монархо-фашистской диктатуры ошибочный лозунг вооруженного восстания, для которого отсутствовали объективные условия. Абсолютистский режим со всей силой обрушился на Коммунистическую партию и ее сторонников. Монархо-фашистские правители самым беспощадным образом расправились с КПЮ, ряды которой сильно поредели, сотни ее руководителей были заточены в тюрьмы, десятки зверски убиты, в том числе организационный секретарь ЦК КПЮ Джуро Джакович. Партия была загнана в глубокое подполье, ее ослабленное руководство эмигрировало из страны.

Как отмечал И. Броз Тито, «в 1930—1931 гг. жизнь партии в стране замерла... Только в конце 1932 г. вновь начинают возрождаться партийные организации в крупных центрах Югославии» [6, с. 43]. Преодолению кризиса в КПЮ в значительной мере способствовала резолюция Коминтерна «О политическом положении и задачах КПЮ» (1932). В конце июня 1932 г. решением Коминтерна было создано новое временное руководство КПЮ (с начала 1934 г. переименовано в Центральный Комитет КПЮ) во главе с Иосипом Чижинским, принявшим после эмиграции в СССР в 1923 г. псевдоним Милан Горкич.

Большое значение для активизации работы партии имело то, что в нее стали включаться коммунисты, возвращавшиеся из тюрем и каторги. Состоявшаяся в Любляне в декабре 1934 г. IV Конференция КПЮ показала, что партия в основном преодолела последствия террора диктаторского режима. Проанализировав «грубые политические ошибки и сектантский уклон периода 1929—1931 гг.» [4, с. 126], конференция признала целесообразным создать в рамках КПЮ КП Хорватии, Словении и Македонии. Был избран ЦК КПЮ в количестве 12 человек. В Политбюро, которое возглавил М. Горкич, вошел освобожденный в марте 1934 г. из тюремного заключения Иосип Броз (выступавший под псевдонимами Тито и Вальтер). В середине января 1935 г. ЦК КПЮ принял решение о направлении его в Москву на работу в Балканском секретариате Коминтерна. В начале марта 1935 г. вместе с другими представителями КПЮ И. Броз Тито участвовал в заседании Политкомиссии ИККИ, принявшей резолюцию «О ближайших задачах КПЮ», где подчеркивалось, что настоящей задачей югославских коммунистов является создание вокруг пролетарского ядра широкого антифашистского народного фронта, опирающегося на союз рабочего класса с трудовыми массами крестьянства [9, с. 131].

Далеко идущее позитивное влияние на деятельность КПЮ оказали решения VII конгресса Коминтерна (июль — август 1935 г.), ознаменовавшего конструктивный поворот в его политике на путях возвращения к ленинской постановке проблемы единого фронта. Сердцевиной новой политической платформы международного коммунистического движения стала выдвинутая этим конгрессом концепция антифашистского народного фронта, видная роль в разработке которой принадлежала Генеральному секретарю Коминтерна Г. Димитрову. По оценке И. Броз Тито, участвовавшего в составе делегации КПЮ в работе VII конгресса, принятые им решения имели «огромное значение для КПЮ», указав путь, которым «наша партия должна идти и налаживать связи с массами» [7, с. 22]. Однако, по его словам, «сектанство... еще долгое время мешало проведению в жизнь решений VII конгресса Коминтерна» [7, с. 22]. Об этом свидетельствовали, в частности, решения состоявшегося в апреле 1936 г. пленума ЦК СКЮ, шедшие вразрез с установками VII конгресса Коминтерна и осужденные в августе 1936 г. совещанием руководящего партийного актива КПЮ. В новом Политбюро ЦК КПЮ на И. Броз Тито были возложены обязанности организационного секретаря. Совещание признало целесообразным, чтобы все руководство партии, за исключением политического секретаря, находилось в Югославии.

После почти двухлетнего пребывания в Москве И. Броз Тито вернулся в декабре 1936 г. в Югославию, наладив активную работу по организационному и идейно-политическому укреплению КПЮ. В апреле и августе 1937 г. состоялись учредительные съезды соответственно КП Словении и КП Хорватии, в марте 1937 г. по инициативе И. Броз Тито была создана Центральная молодежная комиссия при ЦК КПЮ. С августа 1937 г. И. Броз Тито, по поручению Исполкома Коминтерна, стал осуществлять практическое руководство всей деятельностью партии после того, как политсекретарь М. Горкич был арестован в Москве органами НКВД и расстрелян в 1939 г. как «иностранный шпион» (реабилитирован 31 марта 1956 г.)¹ [10, с. 40—41].

Важное значение для внутренней консолидации партии и всей ее дальнейшей деятельности имели перенесение местопребывания ЦК КПЮ из-за границы в Югославию и образование в мае 1938 г. И. Броз Тито нового временного руководства КПЮ, которое, по его свидетельству, было окончательно утверждено в начале января 1939 г. секретариатом Коминтерна, «признавшего проделанную им работу» [10, с. 48].

На проведенной в октябре 1940 г. V общегославской конференции КПЮ, имевшей по характеру обсуждавшихся на ней вопросов и принятых решений значение съезда партии, было признано, что КПЮ «преодолела тяжелый многолетний внутренний кризис», покончив с фракционной борьбой в руководстве [7, с. 10]. Было избрано Политбюро в составе Э. Карделя, А. Ранковича, М. Джиласа, Р. Кончара, Ф. Лескошека и И. Милутиновича, которое возглавил Генеральный секретарь ЦК КПЮ И. Броз Тито. Конференция высказалась против присоединения Югославии к фашистскому лагерю, в защиту ее свободы и независимости, подчеркнув, что «народы Югославии настоятельно требуют опоры на СССР, страну прогресса и благосостояния, защитника независимости малых народов» [7, с. 13].

С нападением гитлеровской Германии на Югославию в апреле 1941 г. КПЮ взяла курс на организацию народно-освободительной борьбы. К вооруженному восстанию она призвала народы Югославии 22 июня 1941 г. в день вероломного вторжения фашистской Германии на территорию Со-

¹ Расправа Сталина в конце 30-х годов с ленинской гвардией революционеров коснулась и руководящих кадров других компартий, в том числе КПЮ. Югославские источники приводят поименный список 800 видных коммунистов, ставших жертвой сталинского террора, в том числе Филип Филипович, Милан Горкич, Владимир Чопич, Сима Маркович, Джуру и Степан Цвийич, Камило Хорватин, Иван Гржегич, Коста Новакович, братя Войислав, Радомир и Гргур Вуйович, Младен Чонич, Антон Маврак, Сима и Тоша Милуш, Андрия Михайлович, Никола Оровчанац, Акиф Шермет, Йован Малишич (Мартинович), Гойко Самарджич, Йован Радунович и др. [4, с. 155].

вотского Союза. ЦК КПЮ разработал платформу, стратегию и тактику вооруженной борьбы, позволившие сплотить под высоко поднятым югославскими коммунистами знаменем национального и социального освобождения все подлинно патриотические силы страны. Своей первоочередной задачей КПЮ в ходе войны считала создание партизанских отрядов, новой народной армии, руководство народно-освободительной борьбой. «Другой задачей нашей партии, вытекающей из первой — из борьбы за освобождение страны, — было создание органов народной власти, от народно-освободительных комитетов до Антифашистского веча народного освобождения Югославии» [6, с. 123].

Гитлеровские захватчики, их сателлиты и пособники провели в течение 1941—1945 гг. семь генеральных наступлений против Народно-освободительной армии и партизанских отрядов Югославии, скрывавших на протяжении всей войны от 30 до 55 вражеских дивизий. Но им не удалось в крупнейших боях за Ужице (1941), на Козаре (1942), на Неретве (1943), и особенно на Сутьске (1943), когда немецкие оккупанты вынуждены были привлечь больше сил, чем в знаменитом сражении у Эль-Аламейна, сломить народно-освободительное движение [11, с. 12, 323]. Все более заметные его успехи, образование обширных свободных территорий, составивших к концу 1943 г. в общей совокупности около половины площади страны [12, с. 324—325], обеспечивали стабильные условия для функционирования новых, демократических народно-освободительных комитетов — зародышей будущей народной власти, которые стали создаваться с сентября 1941 г. всюду, где воины НОАЮ и партизаны освобождали более или менее значительные территории.

В обстановке, когда национальная буржуазия, вступив на путь открытого предательства и прямой вооруженной борьбы с народно-освободительным движением, связала тем самым свою судьбу с участием оккупантов и их приспешников, битва за национальное освобождение стала битвой за социальное освобождение. Сложившееся к концу 1943 г. соотношение классовых сил в Югославии было таковым, что становилось все более очевидным, что победа над захватчиками будет означать и решающую победу над буржуазией, победу социалистической революции. Об этом свидетельствовали исторические решения II сессии Антифашистского веча народного освобождения Югославии (в ночь с 29 на 30 ноября 1943 г.), возвестившие на весь мир о рождении новой Югославии [13, с. 9—34].

Руководимое Коммунистической партией Югославии народно-освободительное движение занимало в период второй мировой войны видное место в противоборстве сил антигитлеровской коалиции с фашистской тиранией. КПЮ с честью вышла из выпавших на ее долю испытаний, выполнив стоявшие перед ней задачи. В 1941—1945 гг. она лишилась около 55 тыс. коммунистов. Однако ее ряды постоянно пополнялись. За годы войны в партию вступило 180 тыс. новых членов, в 15 раз больше ее состава к началу борьбы. Несмотря на то, что в живых осталось только 3 тыс. членов партии с довоенным стажем, общая их численность в 1945 г. составляла 141 066 коммунистов. Всего народы Югославии потеряли в огне войны 1700 тыс. человек [6, с. 214].

В Советском Союзе, который вынес на своих плечах основную тяжесть борьбы против фашизма, всегда высоко ценили и ценят значительный вклад в разгром фашизма югославских партизан и бойцов Народно-освободительной армии Югославии. Наша страна была верным и надежным другом трудящихся Югославии на протяжении всей войны, оказывая справедливому делу безоговорочную моральную и политико-дипломатическую поддержку, а также посильную военную помощь. Классовая интернационалистская политика СССР сыграла важную роль в срыве планов Запада лишить югославские народы результатов их самоотверженной борьбы за свое национальное и социальное освобождение. Касаясь этого вопроса, И. Броз Тито подчеркивал в июне 1946 г.: «Наши народы знают, что без помощи Советского Союза мы бы никогда не добились того, что имеем сейчас, то есть свободной, федеративной независимой республики Югославии» [134, с. 57].

Тесный союз с СССР и другими социалистическими странами стал одним из основополагающих принципов внешней политики, провозглашенной 29 ноября 1945 г. Федеративной Народной Республики Югославии.

Верность курсу на последовательную ориентацию страны на СССР подтвердил V съезд КПЮ (июль 1948 г.), см. [15], отклонивший как «неточную, неправильную и несправедливую» критику в адрес КПЮ, содержащуюся в резолюции Информбюро «О положении в Коммунистической партии Югославии» [6, с. 149—159], которая привела к тому, что Югославия в результате допущенного в отношении ее Сталиным произвола оказалась в течение 1948—1953 гг. полностью изолированной от мира социализма. Отметив, что Югославия является социалистической страной, принадлежащей к «социалистическому лагерю во главе с СССР», съезд подчеркнул ведущую роль ВКП(б) в мировом рабочем движении и необходимость следовать ее опыту во внутренних и международных делах.

В духе поручения этого съезда сделать все возможное для преодоления разногласий с руководством ВКП(б), с югославской стороны в последующие месяцы проявлялась сдержанность, готовность к преодолению конфликта, несмотря на то, что Сталин преднамеренно вносил все большее обострение в советско-югославские отношения. Руководство КПЮ и ФНРЮ подтверждало свою добрую волю солидарными с СССР и ВКП(б) действиями как во внутренней, так и во внешней политике вплоть до осени 1949 г., когда после денонсации Сталиным советско-югославского Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, заключенного 11 апреля 1945 г., стало ясно, что разрыв неизбежен.

Конфликт 1948 г. послужил побудительным мотивом для критического переосмысления руководством КПЮ форм и методов социалистического строительства, практиковавшихся в СССР при Сталине. Активные поиски обновления концепции общественно-экономического развития страны на путях очищения марксистско-ленинского учения от сталинских авторитарно-бюрократических извращений привели к появлению в начале 50-х годов ряда особенностей в политической и экономической организации югославского общества. Она стала все больше определяться курсом на ускоренные темпы демократизации и децентрализации хозяйственной и политической жизни в стране, отход от командно-административных методов ее регулирования, размежевание партийных и государственных функций, использование рыночных регуляторов народного хозяйства, предоставление значительной оперативной самостоятельности предприятиям, внедрение в их деятельность принципов хозрасчета и самоуправления. Главный замысел вносившихся изменений в политическую и экономическую системы страны состоял в обеспечении более широкого участия трудящихся в управлении народным хозяйством и обществом, усилении их влияния на деятельность хозяйственных и государственных органов, контроля за использованием прибавочного продукта и его распределением.

Новые подходы к проблемам социалистического строительства были первоначально изложены И. Броз Тито 26 июня 1950 г. в выступлении в Скупщине ФНРЮ. По его предложению был принят закон, популярно названный Законом о передаче заводов в управление рабочим, который провозгласил, что предприятиями, как общенародной собственностью, от имени общества управляют трудовые коллективы через рабочие советы и комитеты управления [16, с. 57].

Создание рабочих советов явилось первым шагом в деле разработки и практического осуществления КПЮ новой концепции строительства социалистических общественных отношений, которая базировалась на трех «де» — деэтизации, децентрализации и дебюрократизации, повлекшей за собой ряд других мер, реорганизовавших экономическую и политическую системы страны на основах самоуправления.

Внедрявшиеся процессы деэтизации и децентрализации управления общественным развитием затронули также формы и методы деятельности партии, численность которой к VI съезду КПЮ, состоявшемуся 2—7 ноября 1952 г., достигла 779 382 человек (после 1948 г. рост на 63%) [17, с. 313]. Одобрив проводившуюся в Югославии перестройку деятельности

государственных и хозяйственных органов, этот форум переименовал Коммунистическую партию Югославии в Союз коммунистов Югославии. Съезд наметил меры, направленные против тенденций к сращиванию партии с государственным аппаратом управления и имевших целью обезопасить СКЮ от собственной бюрократизации. Подчеркнув, что партия должна быть ведущей силой общества, съезд определил, что СКЮ не может являться в своей деятельности непосредственным оперативным руководителем и органом, принимающим решения в экономической и государственной областях; вырабатывая генеральную линию, СКЮ должен бороться за ее реализацию политическими и идеологическими средствами [18, с. 546—559].

В условиях широкой демократизации и гласности на поверхность стали всплывать чуждые СКЮ либералистские взгляды, сводившиеся к требованиям свободы создания и деятельности политических организаций, отказа от однопартийной системы и даже роспуска СКЮ. Главным выразителем таких взглядов стал член Политбюро ЦК КПЮ, Председатель Союзной Народной Скупщины ФНРЮ М. Джилас, выступивший, по выражению Э. Карделя, с «абстрактной антибюрократической концепцией демократии», объективно поощрявшей рост мелкобуржуазно-анархистских тенденций в югославском обществе. Сформулированная в общем плане VI съездом СКЮ установка об отказе партии от командно-административных методов своей деятельности, о перенесении центра тяжести в работе СКЮ с непосредственного оперативного руководства в плоскость идейную, политическую, породила среди части членов партии настроения, сводившиеся к тому, что СКЮ, дескать, должен отказаться в новых условиях от общей руководящей и направляющей роли в обществе, ограничившись сугубо пропагандистскими функциями. Ввиду этого состоявшийся в июне 1953 г. пленум ЦК СКЮ, отмежевываясь от взглядов М. Джиласа, разъяснил, что самоуправление не освобождает коммунистов от ответственности за развитие социализма. На проведенном в январе 1954 г. III пленуме ЦК СКЮ была подчеркнута необходимость борьбы с антисоциалистическими тенденциями, направленными на ликвидацию ведущей роли СКЮ и руководящей роли рабочего класса, на введение многопартийной системы. Выступая на этом пленуме, И. Броз Тито, подчеркнув, что «пока не будет обезврежен последний классовый враг», «не может быть ни отмирания, ни ликвидации Союза коммунистов», квалифицировал взгляды М. Джиласа как «ревизионизм, причем худшего образца», как «реформистский оппортунизм». Пленум исключил М. Джиласа из ЦК СКЮ; он был также отстранен от занимавшихся им государственных постов [4, с. 396—398].

Складывавшаяся практика партийного и государственного строительства на основах самоуправления получила дальнейшее развитие в решениях состоявшегося в апреле 1958 г. в г. Любляне VII съезда СКЮ, принявшего новую Программу партии. В ней югославские коммунисты изложили свое видение закономерностей и противоречий переходного периода от капитализма к социализму, форм, методов и темпов социалистического строительства, которое по целому ряду направлений расходилось с тогдашней теорией и практикой мирового коммунистического движения см. [19].

В определении места СКЮ в жизни страны Программа исходила из того, что «югославские коммунисты свою роль в борьбе за развитие социализма все меньше будут осуществлять с помощью власти, а все больше — через органы общественного самоуправления» и что «ведущая политическая роль Союза коммунистов Югославии будет в перспективе исчезать». Вместе с тем в этом документе подчеркивалось, что «коммунисты не отказываются от своей руководящей общественной роли», что «рабочий класс не может отказаться от оружия своей классовой борьбы — диктатуры пролетариата и руководящей роли Союза коммунистов Югославии». Программа СКЮ провозглашает, что руководящим принципом отношений СКЮ с другими коммунистическими партиями является «великая идея пролетарского социалистического интернационализма» [19, с. 65, 116, 218—220], а внешней политики страны — мирное сосуществова-

ние между государствами различных систем, определяя место Югославии как «составной части социалистического мира» в мировом сообществе «вне военно-политических блоков» [19, с. 76, 80].

В практической работе по претворению в жизнь закрепленной в Программе СКЮ концепции общественно-экономического и политического развития страны на основах самоуправления большое внимание уделялось в последующие годы укреплению ведущей роли СКЮ в условиях демократизации общественно-политической жизни страны, нейтрализации отрицательного влияния закономерностей товарного производства на социальную защищенность трудящихся, поискам оптимального сочетания самоуправления и государственного управления, плановых и рыночных начал, централизма и децентрализации, выработке правильного понимания диалектики взаимоотношений сильного центра и самостоятельности мест, обеспечивающих рациональное распределение полномочий между федеральными и республиканскими органами при верховенстве общегославских интересов, гармонизации межнациональных отношений. Эти вопросы представляют собой тот стержень, вокруг которого и по сегодняшний день «вращается» вся общественно-политическая и экономическая жизнь в Югославии.

Середина 60-х годов ознаменована принятием решений, внесших радикальные изменения в общественно-экономические отношения страны. На состоявшемся VIII съезде СКЮ (декабрь 1964 г.) было признано, что развитие самоуправленческих отношений все больше вступает в противоречие с государственным централизованным регулированием экономических процессов, что действующая хозяйственная система изжила себя и не в состоянии преодолеть ставшие хроническими структурные диспропорции народного хозяйства СФРЮ (в частности, между отраслями перерабатывающей и добывающей промышленности), устранить такие его «болевые точки», как дефицит платежного и внешнеторгового балансов, нерациональные, неэффективные капиталовложения, автаркичный характер экономики, сдерживающий ее включение в международное разделение труда и др. Несмотря на сохранявшиеся в руководстве СКЮ противоречия по вопросу о соотношении централизации и децентрализации, самоуправленияческих и государственных начал регулирования хозяйственной жизни страны, съезд единодушно сформулировал идейно-политическую платформу, давшую зеленый свет общественно-экономической реформе, которую И. Броз Тито охарактеризовал как «революцию в дальнейшем экономическом развитии страны» [20, с. 21—23]. Ее суть сводилась к созданию условий более свободного действия объективных экономических закономерностей и рыночных отношений на базе общественной собственности и самоуправления в целях стабилизации народного хозяйства, достижения отечественным производством показателей мирового уровня [4, с. 437].

Однако реализация общественно-экономической реформы принесла неоднозначные результаты: в частности, усилившаяся насыщенность внутреннего рынка высококачественными товарами сопровождалась серьезными социальными издержками. В усложнившихся при рыночно-плановой экономике условиях хозяйствования резко снизился среднегодовой прирост общественного продукта (который в 1964—1968 гг. упал до 2,9%), произошло повышение цен и расходов на жизнь, увеличилась безработица (только в 1964—1967 гг. количество нетрудоустроенных возросло на 47 тыс. человек), расширилась практика выезда югославских граждан на заработки в капиталистические страны (в середине 1968 г. их число достигло 400 тыс. человек). Как следствие усиления общественно необоснованных материальных различий ослабло чувство уверенности трудящихся в своем социальном положении. Участились конфликты в межнациональных и межреспубликанских отношениях, угрожавшие единству югославской федерации [21, с. 151—153, 159—165, 173—188].

На проведенных 26—27 февраля и 11 марта 1966 г. пленумах ЦК СКЮ было признано, что по вопросу общественно-экономической реформы в СКЮ нет единства, что «в руководстве, как сказал И. Броз Тито, существует политическая фракция, которая стремится блокировать решения

партийных форумов и представительных органов, распространяя недоверие к самоуправлению, демократизации и деэлитизации общественных отношений» [4, с. 432]. Состоявшийся 1 июля 1966 г. на острове Бриони IV пленум ЦК СКЮ, заслушав информацию специальной комиссии о положении в Службе общественной безопасности, которую многие годы возглавлял член Исполкома ЦК СКЮ, вице-президент СФРЮ А. Ранкович, признал, что в ее рядах «сформировалась антисамоуправленческая бюрократическо-централистская группа», «сеющая сомнения в самоуправление, демократизацию, деэлитизацию, в политику равноправия народов и народностей Югославии». А. Ранкович, ставший «олицетворением унитаристско-централистского ядра в руководстве СКЮ» [4, с. 439—440], был обвинен во фракционной борьбе за власть и отстранен от всех партийных и государственных постов (в сентябре 1966 г. его исключили и из рядов СКЮ).

Пленум признал целесообразным приступить к реформе СКЮ. Специально созданной «Комиссии по реорганизации и дальнейшему развитию СКЮ» было поручено подготовить тезисы на тему «Роль СКЮ в условиях общественного самоуправления» и вынести их на общепартийное обсуждение [22, с. 6—8].

Дискуссия о реорганизации СКЮ проходила под знаком борьбы с догматизмом, великодержавным централизмом, так называемой ранковичевщиной, с бюрократическо-иерархическими отношениями в СКЮ, за демократизацию внутривнутрипартийной жизни, прежде всего порядка выборов и кадровой политики. При этом выявилась известная недооценка тенденции либералистской трактовки роли СКЮ. В связи с этим на пленумах ЦК СКЮ в январе и июле 1967 г. подчеркивалось, что демократизация отношений в СКЮ не должна превращать его в «дискуссионный клуб», что либерализм представляет не меньшую опасность, чем догматизм, что отказ СКЮ от административно-бюрократических методов не равнозначен его отказу от своей ведущей роли. Как пояснил И. Броз Тито, «реорганизацию СКЮ нельзя понимать как его отмирание» [23, с. 326]. Решительно выступая за освобождение СКЮ от неприемлемых методов командования, он настаивал на сохранении идейно-политического единства партии, повышении ее дееспособности, усилении ответственности за все общественно-политическое развитие страны, подвергая резкой критике идею о федерализации СКЮ, его превращения в организацию социал-демократического толка.

Дальнейшее развитие системы самоуправления в конце 60-х — начале 70-х годов было отмечено внесением в Конституцию СФРЮ 1963 г. изменений и дополнений, значительно расширивших самостоятельность республик, краев и предприятий в сфере хозяйственной деятельности. Автономные края по существу были приравнены в своих правах к республикам. Конституционные поправки, принятые в апреле 1967 г. и декабре 1968 г., обозначили направленность реформы государственной структуры федерации, проведенной в 1971 г. [23, с. 330].

Состоявшийся 11—15 марта 1969 г. в Белграде IX съезд СКЮ, подтвердив основные цели общественно-экономической реформы, поставил задачу создания одинаковых условий для всех субъектов хозяйствования как важной предпосылки ускоренного развития самоуправления. Имея в виду участвовавшие споры между союзными и республиканскими государственными органами, съезд высказался за необходимость развития новых форм межнациональных связей на основе равноправия народов и народностей, активизации борьбы как против великодержавных унитаристских тенденций, так и против националистического партикуляризма, изоляционизма и сепаратизма. На съезде получил поддержку курс на расширение прав и ответственности республик и краев, было признано право проживающих в них трудящихся распоряжаться, в рамках единого югославского рынка, результатами своего труда.

Подводя итоги общепартийному обсуждению тезисов о реорганизации СКЮ, форум югославских коммунистов принял резолюцию «Об идейно-политических основах развития СКЮ», в которой подчеркивалось, что

ведущую спланированную роль партия выполняет не как «наднациональная организация, использующая республиканские партийные организации в качестве своих приводных ремней», а как синтезирующая различные взгляды, позиции, оценки идейно-политическая сила [15, с. 234].

Съезд одобрил новый Устав СКЮ, повысивший роль организаций СК республик и краев. Их равноправное положение, самостоятельность и ответственность в рамках единого СКЮ подкреплялись введением принципа паритета при формировании руководящих органов СКЮ, когда каждая республиканская и краевая парторганизация делегировала в их состав равное число представителей, независимо от численности этих парторганизаций [15, с. 281].

30 июня 1971 г. вступили в силу конституционные поправки, реформировавшие отношения в федерации. Имелось в виду установить такого рода взаимоотношения между республиками и краями, которые позволяли бы трудящимся, народам и народностям осуществлять свои суверенные права в республиках и автономных краях, а через органы федерации — только специально оговоренные, по согласованию со всеми республиками и автономными краями, Конституцией (область общих интересов касалась внешней политики, обороны, обеспечения единой основы развития общественно-экономических отношений и политической системы).

В начале 70-х годов югославскому обществу довелось пережить один из наиболее трудных этапов в послевоенной истории Югославии. В связи с резкой эскалацией национализма, особенно в Хорватии, в стране и в партии сложилось настолько тревожное положение, что югославские руководители и, прежде всего И. Броз Тито, квалифицировали его как «идейно-политический кризис», в который, по его словам, была «замешана рука Запада» [1, с. 489—490; 24, 1971, 2 XII].

Переломным моментом в преодолении кризиса и укреплении дееспособности и идейного единства СКЮ стали решения, принятые 21 заседанием Президиума СКЮ (2—3 декабря 1971 г.). Обсудив положение, создавшееся в Хорватии, Президиум СКЮ признал необходимым, чтобы СКЮ самым широким фронтом выступил против националистических, антисоциалистических сил. В своем выступлении И. Броз Тито, говоря об ответственности партии за судьбы социализма в Югославии, подчеркнул, что ЦК СК республик должны отвечать не только перед своей республикой, но и перед всей Югославией, а Президиум СКЮ должен иметь право вмешиваться в работу республиканских руководящих партийных органов.

Состоявшаяся в январе 1972 г. II конференция СКЮ одобрила «Программу действий», в которой были намечены меры по идейно-политическому и организационному укреплению СКЮ на принципах демократического централизма, усилению его ведущей роли как важнейшего средства консолидации позиций социализма в стране, по обезвреживанию сил, грозивших социалистическим завоеваниям югославских трудящихся, единству и целостности СФРЮ. Большую роль в этом сыграло письмо Председателя СКЮ И. Броз Тито и Исполнительного бюро Президиума СКЮ, направленное 18 сентября 1972 г. в партийные организации — «Ко всем организациям и всем членам Союза коммунистов Югославии» [21, с. 155].

В целях исправления выявившихся деформаций, угрожавших социалистической сущности общественно-политического строя в СФРЮ, был взят курс на повышение роли партии, как единой революционной организации Югославии, во всех областях жизни страны, усиление классового подхода к оценке и решению актуальных политических и экономических задач, упрочение братства и единства народов Югославии, изживание националистических и антисоциалистических тенденций и в этом аспекте на дальнейшее совершенствование всего комплекса общественно-политических и экономических отношений на основах самоуправления. Важными вехами этой работы явились принятие новой Конституции СФРЮ (февраль 1974 г.) и проведение X съезда СКЮ (май 1974 г.).

На этом форуме югославских коммунистов было констатировано, что

Югославия переживает переходный период, которому присущи такие противоречия, которые легко могут стать источником тенденций и явлений, идущих вразрез с социалистической сущностью общественных отношений, если они не будут преодолеваться сознательными и организованными действиями революционных сил. В этой связи в качестве первоочередной задачи было названо повышение ведущей идейно-политической роли СКЮ как авангарда рабочего класса, усиление его ответственности за развитие страны по социалистическому пути. Съезд призвал коммунистов решительно отстаивать «рабоче-классовую сущность и революционный характер СКЮ», бороться против попыток «технократическо-бюрократических либералистских сил» «оттеснить его революционную деятельность на периферию общественных процессов и превратить СКЮ под лозунгом „невмешательства“ в дискуссионный клуб, в организацию, лишенную какого-либо общественного и идейно-политического влияния». Эти попытки ставили под угрозу «гегемонию рабочего класса в системе социалистического самоуправления, а также саму суть диктатуры пролетариата», — говорилось в материалах съезда. При этом разъяснялось, что политическая система Югославии по своему классовому содержанию представляет собой специфический вид диктатуры пролетариата, самоуправленческую форму социалистических общественно-экономических отношений. Было также уточнено, что демократический централизм и далее остается принципом организации и деятельности СКЮ как единой революционной организации СФРЮ, что республиканские и краевые партийные организации самостоятельны при проведении политики в рамках единой идейно-политической линии СКЮ и платформы его действий.

На съезде были подвергнуты критике тенденции к федерализации партии, явления фракционности, ослабления революционного чутья к буржуазной идеологии, притупления классовых критериев в политической, экономической и культурной областях, протаскивания антисоциалистических, либеральных «теорий» автоматизма и стихийности в югославистскую общественно-политическую практику [23, с. 29, 36, 153, 158, 165, 173—188].

В рамках широкого комплекса мер, направленных на экономическую стабилизацию, хозяйственный механизм в последующие годы был перестроен в соответствии с положениями Конституции 1974 г.: в промышленности, в сельском хозяйстве (в общественном секторе), в государственных органах, научно-исследовательских институтах, в учреждениях культуры, народного образования и здравоохранения были созданы основные организации объединенного труда (ОООТ), которые, обладая финансово-экономической самостоятельностью, должны были также играть и роль первичной ячейки политической структуры югославского общества. В производственной сфере предусматривалась такая форма самоуправления, как самоуправленческие организации, основанные на общности интересов. 25 ноября 1976 г. Скупщина СФРЮ приняла «Закон об объединенном труде», конкретизировавший соответствующие положения Конституции СФРЮ.

Успех работы по совершенствованию общественно-экономической и политической системы на основах самоуправления связывался, наряду с созданием основных организаций объединенного труда, также с широким внедрением делегатского принципа формирования органов народного представительства, призванного расширять возможности непосредственного участия трудящихся в управлении народным хозяйством и обществом.

Состоявшийся в июне 1978 г. XI съезд СКЮ одобрил развернувшуюся работу по приведению в соответствие форм политической организации югославского общества с теми общественно-экономическими и производственными отношениями, которые складывались на основе организаций объединенного труда и делегатской системы в условиях плюрализма самоуправленческих интересов см. [25; 26]. Призвав к активизации борьбы как против бюрократическо-централистских, так и федералистских тенденций в партии, съезд признал право каждого коммуниста при уважении мнения большинства ставить в органах СКЮ и вопрос о пересмотре не оправдавших себя на практике решений.

К концу 70-х — началу 80-х годов обстановка в СФРЮ заметно осложнилась, что проявилось, прежде всего, в разбалансированности народного хозяйства страны. Отрицательный отпечаток на внутривнутриполитическое положение наложили вспыхнувшие в конце марта 1981 г. волнения в наиболее отсталом в экономическом отношении крае Косово, имевшие ярко выраженную сепаратистскую направленность, проявившуюся, в частности, в лозунгах превращения Косово в этнически однородный албанский край и предоставлении ему статуса республики. Добиваясь этой цели, албанские националисты стали создавать в этом крае, считающемся колыбелью сербской нации и государственности, нетерпимую обстановку для проживающих там сербов и черногорцев, вынужденных покидать родные дома, переселяться в другие места. События в Косово вызвали своего рода цепную реакцию оживления националистических настроений по всей многонациональной Югославии.

В то же время стали давать о себе знать все более очевидные сбои в функционировании отдельных звеньев экономической и политической системы СФРЮ на основах самоуправления. Так, обнаружилась слабая эффективность делегатской системы, не полностью оправдались надежды, которые возлагались на организации объединенного труда, в значительной мере еще больше атомизировавшие народное хозяйство страны. Согласование имеющих общегославский характер решений посредством общественных договоров и самоуправленческих соглашений на принципах консенсуса приобретало все более затяжной характер. Положение усугублялось усиливавшимся разрывом между нормативными актами и реалиями политической жизни. В результате многие принципы социалистического самоуправления, внедряемые в Югославии с начала 50-х годов, в значительной мере так и остались на бумаге, или же деформировались, превратившись в свою противоположность. Так, демонтаж этатизма на уровне федерации обернулся на практике ростом республиканско-краевого и даже общинного этатизма. Вместо намеченной передачи функций владельца общественной собственности организациям объединенного труда произошло перераспределение этих компетенций в пользу государственных органов в республиках, краях и общинах, что привело к выхолащиванию сути самоуправления. Многие самоуправленческие структуры трансформировались в видоизмененные государственные институты, в связи с чем появилась опасность бюрократизации самоуправления. Осуществлявшееся во многом формально самоуправление скрывалось к тому же густой бюрократической паутиной, что обрекало его развитие на застой [4, с. 447—481; 27; 28; 29].

Состоявшийся в июне 1982 г. XII съезд — первый форум югославских коммунистов после кончины 4 мая 1980 г. И. Броз Тито, прошел под знаком преемственности внутренней политики на основах самоуправления и внешней политики на принципах неприсоединения. Констатируя, что «преодолеть отчуждение организованных на началах самоуправления рабочих от принятия политических решений не удалось», что эти решения «по-прежнему принимаются от имени рабочих и трудящихся государственными органами, по существу подменяющими собой органы самоуправления», съезд признал целесообразным приступить к анализу политической системы [30].

С июля 1984 г. по февраль 1985 г. в Югославии проходила общепартийная дискуссия, посвященная вопросам идейно-политической роли СКЮ в обществе, укрепления единства его рядов. В ее ходе критическому анализу была подвергнута вся обстановка в югославском обществе. Со стороны рядовых коммунистов высказывались требования более смелого внесения изменений в те институты политической системы, которые не оправдали себя на практике.

К своему XIII съезду СКЮ (июнь 1986 г.) партия пришла, по словам тогдашнего Председателя Президиума ЦК СКЮ В. Жарковича, в обстановке, когда в стране «обострились экономические проблемы, возникли социальные противоречия, наблюдаются застойные явления в развитии страны, ослабление единства федерации и СКЮ, отход от осуществления

намеченных целей», что способствовало возникновению кризиса в экономике, других областях общественной жизни [31]. Съезд в значительной мере способствовал осознанию того, что без решительных перемен, как в сфере базиса, так и в сфере надстройки, вывод самоуправления из состояния застоя невозможен. Надо сказать, что этот процесс проходил неоднозначно и небезболезненно, поскольку пришлось признать необходимость пересмотра многие годы считавшихся незыблемыми постулатов, посягательство на которые еще недавно казалось по меньшей мере кощунственным.

Важнейшим событием на этом пути явилась состоявшаяся 29—31 мая 1988 г. Конференция СКЮ [24, 1988, 1 VI]. Обсудив вопрос об упрочении ведущей идейно-политической роли, единства и ответственности Союза коммунистов в борьбе за выход из общественно-экономического кризиса, она признала, что решающим условием оздоровления обстановки в стране, придания во многом обескровленному бюрократическими тисками самоуправлению второго дыхания является безотлагательное осуществление триединой радикальной реформы — политической и экономической систем, а также СКЮ. Однако в практическом плане реализация этой установки разворачивалась крайне медленно, со скрипом и непоследовательно, что было обусловлено разногласиями в югославском руководстве, усилением межреспубликанских противоречий по вопросам дальнейшего развития системы самоуправления.

Затягивание с проведением в жизнь намеченных реформ, отсутствие каких-либо сдвигов к лучшему в экономике подогревало рост недовольства в стране. Неуменшающаяся безработица, значительное снижение жизненного уровня, заметное обострение межреспубликанских трений, антагонизм между развитыми и отсталыми районами накаляли внутриполитическое положение. Еще больше осложнилась ситуация в Косово в связи с неудержимым ростом националистических настроений в этом крае. 28 февраля 1989 г. Президиум СФРЮ принял решение применить в Косово в целях обеспечения безопасности особые меры.

В обстановке настоящего взрыва массового протеста (в течение августа — октября 1988 г. в митингах приняло участие в общей сложности около 4 млн человек), под давлением требований трудящихся об отстранении от занимаемых постов лиц, утративших доверие народа, в отставку вынуждены были уйти четыре члена Президиума ЦК СКЮ, весь состав Президиума краевого комитета СК Воеводины, Председатель Президиума Воеводины, партийное руководство Косово, сложило полномочия правительство Черногории, а в январе 1989 г. его примеру последовало и партийное руководство этой республики. 30 декабря 1988 г. о коллективной отставке правительства СФРЮ объявил его глава Б. Микулич (в марте 1989 г. Скупщина СФРЮ утвердила Председателем СИБ СФРЮ А. Марковича).

Состоявшийся 17—19 октября 1988 г. XVII пленум ЦК СКЮ, подтвердив курс на скорейшее проведение в жизнь вышеупомянутых трех реформ, сформировал Комиссию по преобразованию СКЮ, которой поручалось разработать предложения по реформе партии, повысить ведущую роль СКЮ, укрепить его единство и сплоченность на путях соблюдения принципов демократического централизма и изживания федералистских тенденций, расширения внутрипартийной демократии, разделения государственных и партийных функций на всех уровнях (в этой связи было решено, что впредь — после мая 1989 г. — Председатель Президиума ЦК СКЮ не будет больше входить в состав Президиума СФРЮ). Пленум решил обновить в течение полутора месяцев состав ЦК СКЮ на одну треть, разработать проект платформы XIV съезда СКЮ [24, 1988, 20 X].

На XVIII пленуме ЦК СКЮ была достигнута договоренность начать разработку проекта новой (пятой за послевоенный период) Конституции СФРЮ. Принятые 25 ноября 1988 г. 34 поправки к 135 статьям Конституции страны 1974 г. создали необходимую правовую основу для проведения в жизнь политической и особенно экономической реформы, осу-

ществление которой началось с 1 января 1989 г. [24, 1988, 20 X; 26 XI].

Проходивший в конце января 1989 г. очередной пленум ЦК СКЮ, утвердив отставки еще двух членов Президиума ЦК СКЮ, принял решение созвать XIV съезд СКЮ (который в соответствии с Уставом СКЮ должен проводиться в 1990 г.) на полгода раньше — в декабре 1989 г. Избрав на вакантные места четырех членов Президиума ЦК СКЮ, а также 33 новых члена ЦК СКЮ, пленум обновил ЦК СКЮ на одну треть, в результате чего средний возраст его членов составляет 42 года. Выказавшись за демократизацию внутрипартийной жизни, пленум разяснил, что реализацию принципов социалистического плюрализма СКЮ усматривает на путях реформы партии и коренной перестройки форм и методов работы Социалистического союза трудового народа Югославии с целью превращения этой самой массовой организации в подлинный фронт всех прогрессивных социалистически ориентированных сил [24, 1989, 2 II]. XXII пленум ЦК СКЮ одобрил 20 апреля проект документа «Основные направления преобразования СКЮ», который был вынесен на общепартийное обсуждение.

Советские люди, занятые решением во многом сходных проблем, проявляют неизменную товарищескую солидарность с усилиями СКЮ и его руководства, направленными на совершенствование социалистического самоуправления в СФРЮ, придание социализму нового современного облика.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Броз Тито И.* Избранные статьи и речи. М., 1973.
- 2¹ Участие югославских трудящихся в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР. — В кн.: Сборник документов и материалов. М., 1976.
3. *Зеленин В. В.* Под красным знаменем Октября. М., 1977, с. 127.
4. *Историја Савеза комуниста Југославије.* Београд, 1985.
5. Третий конгресс Коминтерна. М., 1975.
6. V конгрес Комунистичке партије Југославије. Извештаји и реферати. Београд, 1948.
7. *Броз Тито Ј.* Избор из дела. Реферати са конгреса КПЈ (СКЈ), т. I. Београд, 1977.
8. Историјски архив Комунистичке партије Југославије. Т. 2. Београд, 1950.
9. VII конгрес Коминтерна и борба за создание Народного фронта в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977.
10. *Броз Тито Ј.* *Vorba i razvoj KPJ između dva rata.* Београд, 1977.
11. *Стругар В.* Югославия в огне. 1941—1945. М., 1988.
12. *Istorijski arhiv KPJ, t. I, knj. 2.* Београд, 1949.
13. Друго заседање АВНОЈ. Београд, 1953.
14. *Броз Тито Ј.* Изградња нове Југославије, кн. 2. Београд, 1947.
15. IX kongres SKJ. Dokumenti. Beograd, 1969.
16. Samoupravljanje u Jugoslaviji, 1950—1976 (dokumenti razvoja). Beograd, 1977.
17. *Броз Тито Ј.* Борба за социјалистичку демократију, т. VI. Београд, 1955.¶
18. Преглед историје СКЈ. Београд, 1963.
19. Програм СКЈ. Београд, 1958.
20. Международная политика. Белград, 1967, № 409, 2 IV.
21. X kongres SKJ. Dokumenti. Beograd, 1975.
22. IV plenum SK SKJ. Beograd, 1966, s. 6—8.
23. *Bilandžić D.* Historija SFRJ. Glavni procesi. 1918—1985. Zagreb, 1985.
24. Борба.
25. XI конгрес СКЈ. Документи. Београд, 1978.
26. *Кардель Е.* Правци развоја политичког система социјалистичког самоуправљања. Београд, 1977.
27. Коммунист, 1988, № 7, с. 115.
28. Рабочий класс и современный мир, 1988, № 5, с. 11, 18.
29. *Мизайлович К.* Экономическая действительность Югославии. М., 1986, с. 14—19, 193, 197.
30. XII kongres SKJ. Beograd, 1982.
31. XIII kongres SKJ. Beograd, 1986, s. 8, 41, 45.



ДЬЯКОВ В. А.

ЛИБЕРАЛЬНАЯ И ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЛАВЯНСКОГО ВОПРОСА В РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ.

А. Д. ГРАДОВСКИЙ (1841—1889)

И А. Н. ПЫПИН (1833—1904) ¹

В пореформенной России выделилось и получило значительное развитие либеральное направление в подходе к славянскому вопросу. Генетически оно было во многом связано с западничеством, но сильное воздействие оказали на него и доктрины дореформенного славянофильства. Взаимодействие этих двух, казалось бы несоединимых идейно-политических тенденций, прослеживается в сочинениях известного историка права и публициста А. Д. Градовского (1841—1889). Выступая с позиций консервативного либерализма и пытаясь в своих воззрениях примирить европейский конституционализм с защитой русских национальных традиций, он старался подняться над концепциями западников и славянофилов, хотел взять из них все то, что казалось ему соответствующим новым историческим условиям.

Следуя модным в XIX в. позитивистским теориям и прямо ссылаясь на ряд западноевропейских авторов, Градовский выступал в качестве горячего сторонника «национальной идеи», призывал «увидеть в народности нормальную основу каждого государства». По его убеждению, такая концепция противоречит узкому национализму и в то же время «одна может быть противопоставлена требованиям..., которые принято называть „разрушительными“, (т. е. революционными)». Чтобы уравновесить свое созвучное с западничеством преклонение перед принципом государственности, А. Д. Градовский тут же делает оговорку в славянофильском духе: «Национальная теория видит условия народного прогресса не в той или иной компликации государственных форм..., а в возрождении духовных сил народа, в его самосознании и обновлении его идеалов» [2, с. III—V].

Классифицируя европейские государства по национальному составу населения, А. Д. Градовский писал, что этнически однородны только Италия, Испания, отчасти Франция; к этому «стремится приблизиться современная Германия». «Другие государства, — рассуждал он, — представляют противоположное явление. Они состоят из различных народностей, сохранивших воспоминания о своей самостоятельности и беспрепятственно стремящихся к ней. Правительство ни по языку, ни по происхождению, не принадлежит ко *всей* массе народонаселения. Сила его опира-

Дьяков Владимир Анатольевич — д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ Постановку темы в целом и сравнительную характеристику различных интерпретаций славянского вопроса см. [1].

ется на *одну* из народностей, входящих в состав государства, или на один класс, вполне с ним родственный; эта народность или этот *класс* получили поэтому политическое *преобладание* в стране. Таков характер современной Австрии, с ее преобладающей немецкой народностью». По мнению А. Д. Градовского, в государственном строительстве политика должна исходить из «национального принципа», который сформулирован наукой и звучит якобы следующим образом: «Каждая народность, т. е. совокупность лиц, связанных единством происхождения, языка, цивилизации и исторического прошлого, имеет право образовать особую политическую единицу, т. е. особое государство» [2, с. 8—13].

Народность (нацию) А. Д. Градовский рассматривал как «совокупную или коллективную личность». Он различал две разновидности «народностей» — «естественные» и «государственные»: первые могут удовлетвориться некоторой самостоятельностью внутри чужого государства и даже ассимилироваться, вторые должны получить свою государственность. Этому требует «принцип национальности», который «противоречит механическому, насильственному соединению в одно государство *сложившихся* уже народностей, из которых никоим образом не может образоваться одна народность». Народность, по мнению А. Д. Градовского, — «есть понятие *культурное*, т. е. она предполагает известную общность исторического развития, в котором проявились все особенности духовной природы племени и, кроме того, сильную степень народного *самосознания*, т. е. сознания своего коллективного я». Исходя из всего этого, А. Д. Градовский пытался доказать будто сама идея интернационализма противостественна и ненаучна. «Ошибка новейшего *коммунизма*, — заявлял он, состоит именно в том, что, выдвигая на первый план идею *общения*, он забывает о той законной доле *обособления*, на которую имеет право каждая личность» [2, с. 20—22].

В 1873 г. А. Д. Градовский прочитал в Петербурге цикл лекций о «первых», т. е. дореформенных славянофилах. Лекции, по его словам, были «должны показать не то, что „сделали“ славянофилы в свое время, а то, что труды их делают в настоящее время». Славянофильские доктрины и воззрения западников, особенно П. Я. Чаадаева, оценивались А. Д. Градовским как одинаково неприемлемые. В одной из своих лекций он заявил: «Мечтания славянофилов о том, что запад погибнет, а на развалинах сего Вавилона заиграет новая жизнь славянских народов, были естественным, законным протестом против беспощадной теории божественного права западных народов. Смеяться над ними за этот протест нельзя... Можно сказать только одно — их теории о гибели Запада и абсолютности восточной культуры отжили свой век вместе с противоположной теорией, их вызвавшей». В безоговорочном отрицании дореформенными славянофилами позитивного значения западноевропейской культуры, как и в высказываниях некоторых дореформенных западников о полной бесперспективности исторического развития славянских народов, А. Д. Градовский видел две крайности, неразрывно связанные друг с другом и не подтверждаемые действительностью. «Отбрасывая крайности, вытекающие из беспощадной метафизики двух школ, — уверял он, — мы легко открываем зародыш национальной теории». И славянофильские и западнические доктрины А. Д. Градовский считал одинаково мертвыми, заявляя при этом, что их «надо похоронить вместе» [2, с. 170—171].

Отношение А. Д. Градовского к «покойникам» постепенно менялось, особенно в его публицистических сочинениях. Критический пафос все более сосредотачивался на «западнических» тенденциях, а по отношению к славянофильским идеям все чаще высказывалось сочувствие и понимание. Это проявляется, например, в стремлении А. Д. Градовского доказать, что славянская идея вовсе не чужда либерализму, и что «новые» либералы «неославянофильского» толка всегда готовы бороться с разными «нигилистами», «разрушителями», а тем более социалистами. Увлечение «неославянофильством» особенно проявилось у А. Д. Градовского в годы восточного кризиса. Одну из своих публичных лекций 1876 г. он закончил так: «Самосознание! Вот великое слово, в котором нуждается

наш славянский мир, рассеянный и рассыпанный подобно песку морскому! Когда, наконец, проснется и зашевелится это великое тело в полном сознании своей солидарности?» В том же году в газете «Голос» появилась статья А. Д. Градовского, которую, не зная автора, вполне можно было бы приписать А. И. Аксакову, или В. И. Ламанскому. «Роль России в Европе, — писал А. Д. Градовский, — определяется тем, что она — держава *славянская*... Не даром же просвещенная Европа аплодировала теории Духинского о *туранском* происхождении русских; не даром бывший министр народного просвещения во Франции, г. Дюрюи, внес эту теорию в *учебники* всеобщей истории; не даром еще недавно одна английская газета доказывала, что мы — татары, принявшие христианство. Все это ужасно невежественно, но далеко не глупо. Европе не хочется, чтоб мы были славянскою державою, чтобы мы жили одними радостями и горестями со славянским миром». В 1878 г. А. Д. Градовский весьма темпераментно защищал неославянофильство от Б. Н. Чичерина и В. И. Герье, заявляя при этом: «Нет, не им победить свет; не им свернуть с дороги историю; не им задавить национальное движение, это лучшее приобретение новейшей общеславянской культуры» [2, с. 263, 272, 302, 478].

После русско-турецкой войны 1877—1878 гг. в публицистике А. Д. Градовского в определенной мере регенерировались черты западничества, хотя он горячо доказывал, что «либерализм и западничество вовсе не одно и то же», что славянофилы и западники одинаково активно работали над «Положением о крестьянах 1861 г.». В статье 1880 г., посвященной речи Ф. М. Достоевского при открытии памятника А. С. Пушкину, А. Д. Градовский заявил, что призыв «к народности» он вполне приемлет, но считает необходимым отделить его от ретроградства и антиевропейскости. «Истинно-всечеловеческое значение мы можем приобрести только после того, как мы укрепимся и разовьемся в качестве народности, умеющей и могущей делать *свое* общественное дело, как мы, восприняв начала общечеловеческой культуры, откроем пути и средства для нашего творчества, которое без того навсегда останется в виде зародыша, давая миру одних нелепых „самоучек“, начиная от самоучек-механиков и кончая самоучками-„революционерами“... Отдельный человек может служить человечеству только *через* свой народ, и ... вне этого народа ему нигде нет места. Коротко говоря: нужно только смело и бодро идти по пути, открытому с 1861 года» [2, с. 382]. В 1882 г., полемизируя с Н. Н. Страховым, А. Д. Градовский призывал к признанию неразрывности связей между национальным и всечеловеческим; доказывал, что «только при гармоническом сочетании этих двух элементов возможна действительно историческая жизнь», вера в которую соединялась у него с верой во всемирно-историческую роль России. «Вот почему, — заявлял он, — мне так больно смотреть на нынешнюю гоньбу за „самобытностью“, конечно не имеющую ничего общего со здоровым национальным движением» [2, с. 440].

На протяжении пореформенных десятилетий весьма заметное участие в дискуссиях по славянскому вопросу принимал крупный ученый-славист А. Н. Пыпин (1833—1904). В отличие от А. Д. Градовского, который сначала пытался балансировать между двумя направлениями, а затем занял во многом благожелательную позицию по отношению к тому, что сам называл «неославянофильством», А. Н. Пыпин не менял своего критического подхода к любым доктринам славянофильской окраски. Его идейно-политические взгляды были всегда гораздо левее взглядов А. Д. Градовского, хотя в некоторых областях они и имели либеральный оттенок. Близкий к Н. Г. Чернышевскому и тесно связанный с кругом журнала «Современник» вплоть до его закрытия в 1866 г., А. Н. Пыпин и в последующие годы оставался верным прогрессивным либерально-демократическим традициям. Именно этим и определяются его идейно-научные и политические позиции в дискуссиях по славянскому вопросу.

Свое мнение о дореформенном славянофильстве А. Н. Пыпин высказывал в журнальных статьях и рецензиях, главным образом на страницах «Современника». В обобщенной форме оно нашло отражение в спе-

циальной главе книги, которая была опубликована в 1873 г. и посвящена «литературным мнениям» 20—50-х годов XIX в. [3]. Признавая, что «большой исторической заслугой» славянофилов является внедрение в русское общественное сознание «славянского понимания народа», Пыпин четко показывал и отрицательные черты их воззрения, по его мнению, связанные прежде всего с тем, что славянофильская доктрина имеет «теологическое основание», а «вопрос образованности... тесно связывается с вопросом чисто церковным». «Вопрос национального единства подчиняется вопросу теологическому», а исходя из религиозных соображений оцениваются уроки отечественной истории и определяются исторические перспективы страны [3, с. 241, 258, 267]. Оценивая взаимоотношения славянофилов и правительства, Пыпин отмечал: «Славянофильство, хотя и очень близкое к господствовавшей официальной народности, не пользовалось благосклонностью высших сфер, которые, если не осуждали основных его тенденций, то, кажется, думали, что оно идет в них слишком далеко; и берется не за свое дело, предпринимая истолкование истинных начал русской жизни» [3, с. 281]. Суммируя свое мнение о воззрениях славянофилов, А. Н. Пыпин писал: «Смесь освободительных намерений с крайней нетерпимостью, притязания на господство и „обрусение“ даже раньше, чем представлялась бы к тому возможность, неумение понять связь славянского вопроса с нашими внутренними делами, и отсюда ряд всяких противоречий» [3, с. 113].

Во введении к «Характеристике литературных мнений» А. Н. Пыпин затронул также взгляды пореформенных преемников славянофильства и кратко изложил свое собственное понимание проблемы славянской самобытности. В частности: «Новейшие славянофилы опять очень много говорят о национальности... В характере национальности видят они нечто предопределенное, раз данное и неизменное. Такое понятие о предмете предполагала... школа официальной „народности“, которая в тридцатых годах совместила характеристику русской жизни и ее принципов в три известные символа. Такое почти понятие полагает и школа славянофильская, старая и новая... В самом деле, национальность вовсе не неподвижна; напротив, как стихия историческая, она способна к видоизменению и усовершенствованию, и в этом состоит возможность и надежда прогресса... Историческое движение народа заключается вовсе не в одном развитии и усовершенствовании его исконных представлений, как утверждают доктринеры, а также и в приобретении и создании понятий, совершенно новых, приходивших иногда из совсем чужого источника или под чужими влияниями... Что касается до уважения к народу, оно, конечно, состоит не в лелеянии его наивности и его археологических заблуждений... Доктринеры народности ошибаются и в том, когда думают, что народ всегда ревниво и вполне сознательно хранит свои предания, и сам подтверждает их неприкосновенность... Предания хранятся потому, что ничто не приходит заменить их» [3, с. 5—8].

В трех номерах «Современника» за 1864 г. А. Н. Пыпин опубликовал статью «Вопрос о национальностях и панславизм». В результате дальнейшей разработки этой темы появились его очерки «Панславизм в прошлом и настоящем» в «Вестнике Европы», в 1878 г. это было первое научное исследование, в котором освещалась история появления и развития идеи славянской общности, анализировались различные ее интерпретации во всех славянских странах. «Панславизм,— писал А. Н. Пыпин,— по своему происхождению был естественным следствием национального возрождения славянских племен с конца прошлого столетия. Его политическая будущность темна; настоящее неопределенно..., но как стремление славянства создать себе политическое существование, скрепить междуплеменные отношения в прочную нравственную и политическую солидарность,— панславизм имеет за собой полное право. Это — то же право, какое имела за собой борьба за национальное единство у немцев и итальянцев» [4, с. 52].

Исследуя конкретный материал различных славянских стран, А. Н. Пыпин выделял три основные интерпретации идеи славянской общ-

ности (по его терминологии «варианты панславизма»): во главе с Россией против Европы; во главе с Польшей против России; всеобщая демократическая федерация славян. В тогдашней обстановке он все их считал нереальными, ибо в языке, культуре и социально-политическом положении славянских народов было настолько много различий, что их объединительные стремления хотя и существовали, но проявлялись «неровно» и «неустойчиво». По мнению А. Н. Пыпина, южные и западные славяне были «расположены воспользоваться... могуществом России для своего освобождения»; что же касается стремления к политическому объединению, то оно еще не доказано. «Только будущее может выяснить этот вопрос; но не трудно предвидеть, что он может быть решен в смысле утвердительном не иначе, как после значительной внутренней работы России... над условиями своего быта» [4, с. 5, 27, 54—56].

Совершенно очевидно существенное отличие позиции А. Н. Пыпина в данном вопросе не только от воззрений славянофилов и их пореформенных наследников, но и от взглядов А. Д. Градовского, считавшего, что после 1861 г. «внутренний быт» России стал вполне приемлемым для зарубежных славян. Политическое объединение славян, по убеждению А. Н. Пыпина, было возможно лишь при условии гораздо большей демократизации России, чем принесли половинчатые буржуазные реформы, осуществленные царизмом. Весьма интересные соображения высказывал он, сравнивая стремления к политическому объединению славянского мира с объединительными движениями в других европейских странах. Очень существенным А. Н. Пыпин считал то, что у итальянцев и немцев вопрос о политическом объединении был поставлен тогда, когда национальное единство уже существовало и было заявлено в литературе и культуре; в славянском же мире ничего подобного нет. «В общем течении жизни, — заявил А. Н. Пыпин, — славянство доселе остается страшно разделенным: история, нравы, быт — различные; политические интересы ... идут врозь». Поэтому, утверждал он, «панславизм» не похож на объединительные движения в Италии и Германии, он выглядит скорее как нечто вроде движения за объединение Голландии, Дании и Скандинавии. Делая такой вывод, А. Н. Пыпин счел необходимым оговориться, что «в славянстве идет хотя еще неясный, но несомненный процесс взаимного сближения» [4, с. 57—65].

При всем том А. Н. Пыпин был убежден, что видимое стремление восстановить и укрепить взаимную связь частей славянского мира «вовсе не значит, что славянские „ручьи“ желают слиться и потеряться в русском „море“». Лидерство русского народа, как самого многочисленного среди славян, он признавал естественным, но вновь и вновь подчеркивал, что главенствующее положение в славянском мире Россия будет вправе занять только после того, как на ее территории осуществятся весьма серьезные социально-политические преобразования. Он заявлял: «Всякое стремление наше — при отсутствии обновления — искусственно ускорить объединение славян с Россией может создать между нами и всем без исключения славянством полное недоверие, которое исключит и смысл и саму возможность объединения» [4, с. 70—72].

Один из разделов рассматриваемой книги А. Н. Пыпина озаглавлен «Русский панславизм». В ней говорится, что под этим понятием западные авторы «разумеют обыкновенно принимаемое ими за несомненное стремление России воспользоваться племенными влечениями славянских племен, слабых в отдельности, для установления своего влияния или господства над ними, с тем, чтобы грозить потом Европе». Имея в виду 30—40-е годы XIX в., к которым чаще всего относились подобные определения, А. Н. Пыпин писал: «Русскому обществу эти мысли приходили не часто; в образованнейшей части его заботились о других, более настоятельных нуждах своего просвещения; а когда приходили эти мысли, они так мало поощрялись людьми, властью имущими, что смешно читать писания иностранцев о грозном характере русских панславистов: дома на них едва обращали внимание, они едва были терпимы, а иногда им приходилось даже довольно жутко» [4, с. 73—74]. Впрочем, А. Н. Пыпин не закрывал гла-

за на тех, кого так или иначе считал возможным отнести в рубрику «русский панславизм». Он писал, например: «М. П. Погодин, веровавший в официальную народность и сам много ей послуживший на своем веку, никак не мог разобрататься со своими дифирамбами ей и с своими сочувствиями к славянству... Главным мотивом национальных взглядов и требований самого Погодина были соображения внешнеполитические» [4, с. 104].

По иному относился А. Н. Пыпин к идее культурного сближения славянских народов. При этом он категорически отвергал планы объявления русского языка единственным языком общения славян, любые высказывания о бесперспективности национальных литератур славянских народов. «Если бы мы желали,— писал он,— литературного объединения, надо: не требовать от славян принятия русского языка,— это будет совершенно бесполезно, да и невозможно,— а стараться поставить саму русскую литературу в такое положение, чтобы она без всяких хлопот и рекомендаций с нашей стороны, получила для них образовательный, научный и политический интерес» [4, с. 174]. В отношении политической сферы скепсис Пыпина был глубоким, но не безысходным. Подводя итоги своим рассуждениям по данному вопросу, он писал: «Едва ли можно думать, что нынешние политические условия останутся неподвижными; вероятнее, напротив, что время будет делать свое, что придут более широкие формы и идеи, которые дадут место и такому славянскому союзу, какой теперь считается невозможным, неизменность форм может стать опасностью для самой России. Само развитие славянской солидарности может здесь подействовать, открывая новые условия и потребности,— если только сумеет идти в уровень с лучшими стремлениями в самом русском обществе» [4, с. 180].

В своих суждениях по данному кругу вопросов А. Н. Пыпин, как и Н. Г. Чернышевский, исходил из того, что социальные противоречия оказывают большое, зачастую решающее воздействие на национальные движения. Именно это он имел в виду, когда писал: «„Национальные“ стремления чрезвычайно легко поддаются извращению, эксплуатации, политической интриге, иногда самой грубой...» [4, с. 62]. С этих позиций А. Н. Пыпин критиковал воззрения и практическую деятельность русских славянофилов дореформенной эпохи и их идейных наследников и зарубежную, в особенности немецкую публицистику, которая запугивала народы Европы практически несуществующей угрозой панславизма. При этом он конкретными фактами доказывал: что при Николае I во внешней политике России главенствовал принцип защиты «законной власти» монархов, в том числе и для Турции; что рассуждения об опасности панславизма чаще всего были политической уловкой, за которой скрывалась «просто вражда к России»; что «внутренняя политическая жизнь славянства так подавлена чужими и своими, что говорить теперь о „панславизме“, грозящем Европе, есть шутка или ирония» [4, с. 147—149].

Итак, А. Н. Пыпин высказал немало подтвержденных фактическим материалом новых и вполне здравых мыслей относительно происхождения, сущности и идейно-политического значения различных интерпретаций идеи славянской общности, совокупность которых была названа им «панславизмом». Название, по-моему, неудачно, но постановка проблемы в целом, большинство конкретных оценок и выводов А. Н. Пыпина представляются, если не во всем правильными, то до сих пор сохранившими большое научное значение.

Сказанное прежде всего касается подхода к идее славянской общности, которая в работах А. Н. Пыпина вполне обоснованно рассматривалась как объективно существующее и довольно значительное явление жизни славянских народов, имевшее существенное воздействие на духовную культуру многих европейских стран, на межславянские связи и на славяно-неславянские отношения. В первой половине XIX в. славянские народы пережили период бурного роста взаимного интереса к истории и литературе не только своей собственной, но и друг друга. Считая, что «панславизм прежде всего был археологическим открытием», А. Н. Пыпин

подчеркивал наличие важных социальных факторов, обусловивших пути и масштабы его развития. «Становление панславизма, — писал он, — было на деле сложным процессом общественной идеи, с одной стороны, консервативным, а с другой — демократическим... И платоническое увлечение народностью становилось политическим стремлением» [4, с. 51].

В итоговом разделе книги «Общие замечания» А. Н. Пыпин еще раз подчеркнул объективно-исторические истоки идеи славянской общности, ее органическую связь с национальным возрождением славянских народов в конце XVII — первой половине XIX в. Отвечая на вопрос о том, что же такое «панславизм», он заявлял: «Прежде всего мы имеем перед собой факт возрождения славянских национальностей, совершающийся с конца прошлого столетия. Не всегда замечают необычность этого факта... Славянское возрождение совершалось... в духе освобождения и просвещения... Это был своего рода романтизм, но не феодальный, а демократический — не оставшийся только капризом литературной школы, но соединенный с заботой о практической помощи народному сознанию, о популярной литературе и пр. ... По всему этому характеру своего содержания славянское возрождение есть один из сильных факторов общеевропейского прогресса» [4, с. 162—163, 165]. В дальнейшем своем развитии идея славянской общности вращалась в общественную жизнь каждого из славянских народов, впитывая в себя ее противоречия. «„Национальный принцип“, — продолжал рассуждать А. Н. Пыпин, — подвергался различным теоретическим нареканиям, и заслуживал их, когда извращался в орудие реакционной политики или дипломатической интриги... Он действовал здесь своими элементарными силами и был единственным орудием политического, общественного и нравственного возрождения целых племен... Национальное сознание, явившись, наконец, в славянских обществах, должно было развиваться все в больших размерах... Мало-помалу стала являться мысль о необходимости национальной солидарности племен — панславизме» [4, с. 167—169]. Констатируя сложность и внутреннюю противоречивость данного течения, А. Н. Пыпин считал необходимым особо подчеркнуть, что, по-разному развиваясь в разных странах, оно всегда имело неофициальный, общественный характер. Так называемый панславизм, это «чистая теория, или вернее, наполовину теория, наполовину идеал национальных патриотов, философско-историческое построение, справедливое или несправедливое, но которое никогда не было правительственной системой» [4, с. 171].

Объективные условия для роста славянской солидарности А. Н. Пыпин не считал благоприятными. Славянофильские и штуровские планы, австрославизм, погодинский план славянской империи, польские варианты «панславистских мечтаний» он отвергал так же, как и опасение Запада насчет того, что может возникнуть «славянская империя Чингис-Хана». Уклоняясь от каких-либо конкретных прогнозов на будущее, А. Н. Пыпин призывал к созданию «нравственно-политической солидарности» всех славян, для чего первым условием «были бы — религиозная терпимость и уважение к чужой народности». Очень важным он считал, чтобы южные и западные славяне научились отличать официальную Россию от неофициальной. А. Н. Пыпин прямо заявлял, что претензии России на главенство в славянском мире не очень уместны до тех пор, пока в ней самой господствуют далеко не передовые порядки. «Наши панславистские взгляды выяснятся в теории и будут прочно поставлены практически лишь тогда, когда наши общественные силы будут иметь прочное развитие, позволяющие на них опереться. Только тогда мы будем в состоянии говорить с правом о нашем значении для панславянского союза и единства» [4, с. 177—183].

Рамки взятого в целом либерального направления в трактовке идеи славянской общности, в подходе к славянскому вопросу были, таким образом, довольно широкими. Его правое умеренно-консервативное крыло (которое, в частности, представлял А. Д. Градовский) было во многом близко по своим общественно-политическим позициям к пост-славянофильским кругам, хотя в научно-теоретическом отношении отличалось

от них довольно существенно. Что касается левого крыла, представленного А. Н. Пыпиным, то оно имело немало сходства с народническим направлением в теоретической сфере и нередко сотрудничало с ним в издательских делах и публицистике, но отличалось своими политическими позициями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дьяков В. А. Славянский вопрос в пореформенной России (1861—1895).— Вопросы истории, 1986, № 1, с. 41—56.
2. Градовский А. Д. Национальный вопрос в истории и литературе. СПб., 1873.
3. Пыпин А. Н. Исторические очерки. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятих годов. СПб., 1873.
4. Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем. СПб., 1913.



СЛАВЯНСКАЯ ИДЕЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО

Ставя в центр своих интересов человека, его стремления и тревоги, литература зачастую раньше и более метко, чем обычная общественная информация или гуманитарные исследования, может выразить своими средствами то, что волнует человеческие сердца и умы, сигнализировать о нарастании новых конфликтов или формировании новых взглядов и новых форм отношений между людьми. При этом славянские литературы — как отмечают исследователи — обнаруживают особую склонность к проблемам нравственности; отсюда так много славянских писателей стремятся стать «властителями душ», стремятся к исправлению мира; отсюда также «в сущности, сходные этико-философские тенденции в их произведениях, и это независимо от жанровых различий и даже эпохи» [1] (ср. также [2]).

Именно таким писателем и моралистом был Федор Достоевский, гениально предугадавший на заре нашей современности едва вырисовывавшиеся тогда противоречия стремительно освобождающегося от церковного влияния сознания. При этом писателя волнует не столько эрозия религиозного сознания, сколько возможные последствия эмансипации человека, который, отвергнув идеал Христа, живет на собственный страх и риск. Эти противоречия составляют центральную проблематику его романов, основанную на известной формуле: если Бога нет, то все позволено. В свою очередь, славянская идея выступала посредником между историческими и историософскими воззрениями писателя.

Мир романов Достоевского — святой и греховный одновременно, и при этом сгущенный сверх всякой меры времени и пространства — продолжает притягивать писателей и историков литературы, философов, психологов, теологов, причем не только в пределах европейской культуры. Под мощным влиянием идей Достоевского формировались такие разные школы и философские направления, как персонализм и экзистенциализм, а в известном смысле и теология «смерти Бога», теология надежды или неохасидизм. У Достоевского заимствовал также имморалист Фридрих Ницше. Обильно черпали из этого источника как «сверхкатолический» писатель Франсуа Мориак, так и «сверхбогохульник» Жан-Поль Сартр (см. об этом подробнее [3]).

На эту «провидческую» и «воспитательную» роль выдающихся писателей, а Достоевского в особенности, давно уже обращено внимание. «Современная литература, — пишет Жан Франсуа Ревель, — была нашей философией и была ею даже для самих философов. Мы обращаемся к психологии Стендаля и Достоевского или Пруста, чтобы понять самих себя и нам подобных, а не к Бергсону, Брентано или Мерло-Понти» [4].

Включаясь в дискуссию о наследии Достоевского, видный польский философ Т. М. Ярошевский подчеркнул философскую сторону наследия писателя: «Всякое выдающееся литературное произведение, обращаясь

к проблеме человеческой судьбы, драматизма нравственного выбора и его сложной мотивации, является, в известном смысле, произведением философским. Оно даже должно быть таковым, независимо от того, осознает ли это сам писатель или нет, отчетливо ли формулирует он свою философскую направленность или старается искусно ее замаскировать в перипетиях судьбы и высказываниях героев. Ибо вопросы о человеческом существовании, о том, как жить и как жить достойно, что стоит ценить и на что в нравственном выборе можно опереться, в чем заключается величие человека, какие западни подстерегают его в жизни, каковы возможности самореализации и самовыражения человека — являются прежде всего философскими вопросами. Но без этих вопросов нет литературы по-настоящему великой и высоко устремленной». Достоевский же «был философом по меньшей мере в трех смыслах: потому, что он сознательно затрагивал в своих художественных произведениях философские, теологические, нравственные проблемы. Потому, что его герои постоянно вопрошают, как и во имя чего жить, на что можно опереться в жизни, доходят до предела в философских спорах. И, наконец, потому, что в своем „Дневнике писателя“, являющемся одновременно интимным дневником, циклом литературно-критических и философских очерков, и журналом одного автора, — он поднимал самые существенные философские проблемы своего времени» [5].

Прав был, следовательно, Л. Левенталь, когда доказывал, что причины популярности Достоевского следует искать в областях, которые обычно обходят история литературы (ср. [6]).

Как представляется, одной из таких областей является славянская идея Достоевского, не воспринятая исследователями как таковая или отвергнутая как проявление «достоевщины» и политических предпочтений писателя.

В польской литературе этот вопрос приобрел особую остроту. Тут сыграли свою роль и трагическое историческое прошлое, и позднейшая тенденциозность в толковании польских мотивов у Достоевского. Определяя свое отношение к этому вопросу, Б. Бялокозович, тонкий знаток русской литературы и польско-русских отношений, утверждал: «Именно вокруг этого вопроса наросло много легенд либо просто недоразумений из-за односторонней интерпретации образа поляков в произведениях Достоевского. Вопреки распространенному мнению, поляки не были для Достоевского „дьяволами во плоти“, как написал один из наших областных еженедельников. Невозможно также согласиться с утверждением, что Достоевский как писатель глубоко русский был одновременно писателем наиболее антипольским и именно потому мы должны изучать Достоевского в Польше, что без него якобы нельзя понять русских и России. Это, мягко говоря, чрезвычайно тенденциозный взгляд, окрашенный специфическим субъективизмом. Отношение Достоевского к Польше, полякам и польскому вопросу должно изучаться на основе не только литературных произведений, но и публицистики, корреспонденции, дневников и воспоминаний. Много нового, я думаю, внесло бы в освещение этой проблемы обстоятельное и объективное исследование польской темы на страницах журналов „Время“ (1861—1863) и „Эпоха“ (1864—1865), издаваемых и редактируемых братьями Михаилом и Федором Достоевскими. Не следует забывать и о полемике с полонофобским журналом М. Каткова „Русский вестник“, а также о том, что журнал братьев Достоевских „Время“ был закрыт царскими властями в связи со статьей Н. Стрехова о Польше. Речь идет о том, чтобы объективно исследовать причины и истоки негативного изображения поляков в некоторых сочинениях Достоевского. Ибо следует четко разграничить более или менее негативную оценку поляков в его сочинениях, изображаемых, впрочем, в весьма второстепенных ролях, в качестве элементов русской действительности, в отрыве от польского общества и его национальных проблем, от освещения польского вопроса в историко-политических и культурных реалиях. Следовало бы в сравнительном контексте исследовать отношение Достоевского к немцам, французам или англичанам, т. е. представителям народов,

обладающих своей государственностью, и к полякам и евреям, лишенным таковой в этот период. Здесь возникают проблемы, связанные с идеологией Достоевского, его неославянофильством и теорией „почвенничества“ [7].

Точку зрения Б. Бялкозовича разделяют ныне многие исследователи. Ф. Селицкий, подытоживая в 1985 г. свои многолетние исследования о восприятии Достоевского в межвоенной Польше, пишет: «Достоевского любили и правильно оценивали прежде всего демократические круги нашего общества. Они ценили его за гуманизм, за сочувствие к „униженным и оскорбленным“, за психологическую глубину его произведений. Они оказались способны отнестись к реакционной идеологии Достоевского-политика как к побочному моменту, второстепенному для творчества, горячо признавая и ценя в нем художника» [8].

От исследователей прошлого, которые, подобно Е. Стемповскому или В. Ледницкому, охотно писали о комплексах, идиосинкразии, ненависти и полонофобии Достоевского, в наши дни резко отличается, например, Б. Муха, настаивающий на тщательном изучении фактов (ср. [9]). Достойной внимания попыткой в этом направлении является изданная недавно работа А. Лазари об идеологии «почвенников» (ср. [10]), являющаяся в какой-то степени ответом на призыв, содержащийся в статье Р. Лужного «Достоевский в интеллектуальной истории России» (ср. [11]; см. также [12]).

Все дело в том, что обычно исследования идеологии Достоевского осуществляются как-то в отрыве от логики его художественного мира. Таким образом, здесь имплицитно признается, что, хотя Достоевский был гениальным писателем, он был плохим мыслителем. И следовательно — его идеология может быть взята в скобки, отброшена как второстепенный элемент, несущественный для творчества. Однако, по нашему мнению, гуманистическая ценность наследия Достоевского — равно, впрочем, как и, например, Толстого — обусловлена этой идеологией и мировоззрением писателя с его предельно противоречивым видением человека и мира. Ибо это видение находит определенное отражение в творчестве. Невозможно поэтому понять одно в отрыве от другого.

Иными словами, неославянофильская идеология писателя не привносится извне в изображаемый мир и не является некоей вторичной авторской интерпретацией его, а пронизывает фабулу произведений и моделирует концепцию образов. Герои Достоевского действуют не вопреки идеологии писателя, а согласно запрограммированному этой идеологией сценарию, ибо должны так или иначе, прямо или косвенно выражать авторскую идею. Если же они выражают нечто большее, и даже гораздо большее, то не только — и не столько — благодаря мастерству писателя, но прежде всего благодаря тем самым имманентным противоречиям в его идеологической и мировоззренческой ориентации. И, следовательно, не столько произведение здесь становится выше автора, сколько его идеология — чрезвычайно противоречивая и сложная — оказалась в результате по-своему новаторской и плодотворной.

Как представляется, именно такой подход позволит нам обнаружить и в панславистской утопии Достоевского те проблемы и ценности, которые в прошлые десятилетия не всегда находили надлежащее понимание, подвергались абсолютизации либо отвергались. И с этой целью мы реконструируем здесь славянскую идею Достоевского в трех ее измерениях — национальном, панславянском и универсальном.

1. Русская идея. Достоевский был и ощущал себя связанным со славянофильской традицией, главная проблематика которой сосредотачивалась вокруг оппозиции Россия — Европа, самобытности развития России, а также положения и роли национальной интеллигенции. Эту связь он многократно подтверждает, в частности, в письме к М. Каткову от 25 апреля 1856 г., где откровенно признает, что всегда был и останется по своим убеждениям славянофилом, что со славянофильством у него есть лишь незначительные расхождения. С другой стороны, однако, спор славянофилов с западниками он считает роковым недоразумением, обуслов-

ленным недостаточным знанием России, а также склонностью к доктринерству.

Попыткой преодоления исторических горизонтов, начертанных давним спором славянофилов с западниками, станет идеология «почвенничества», которая зародилась в кругах, близких к журналу «Время». Основные программные документы «почвенничества» принадлежат перу Достоевского. Это — опубликованное в 1860 г. «Объявление о подписке на журнал „Время“ на 1861 г.», а также вступительное слово писателя к циклу «Ряд статей о русской литературе», опубликованное в первом, январском номере журнала «Время» в 1861 г. Как явствует из записок писателя, неопределенность этой программы вполне сознательна. Переломный исторический момент — а именно это переживала Россия накануне крестьянской реформы 1861 г. — требовал, по мнению писателя, скорее исследования и тщательной оценки, чем прогнозов сомнительной ценности, беспомощного забегания «вперед — не зная куда, не с историей, а за теорией» [13]. Этот отклик мы можем воспринять как протест писателя против априорных идей рационализма с позиции спонтанного номинализма.

Кроме братьев Достоевских, Михаила и Федора, значительными фигурами тут были Н. Страхов, философ и публицист, а также Аполлон Григорьев, поэт и известный театральный критик, несколько лет назад связанный с так называемой молодой редакцией «Москвитянина». Страхов, самый молодой из этой группы, был человеком прозорливым и сдержанным. Григорьев — его полной противоположностью. Спонтанный по натуре, он проявлял склонность к пьяным дебошам и любовным похождениям, испытывал также приступы меланхолии, порой попадал за долги в тюрьму, что стоит тут отметить не только потому, что именно эти черты характера спустя годы унаследовал от него Митя, первородный сын Федора в «Братьях Карамазовых». Как представляется, мы имеем тут дело с феноменом, описанным, в частности, В. Беньямином, в Польше же Б. Ясиньским, когда жизнь творческой личности есть реализация ее идейно-художественной программы, а индивидуальные особенности и биография становятся неотъемлемой частью творчества (ср. [14]).

Тем, что сближало Достоевского с Григорьевым, горячим сторонником Шеллинга и его романтической философии откровения, была — явно антигегельянская — мысль о полной автономии развития национальных организмов: «Каждый таковой организм сам в себе замкнут, сам по себе необходим, сам по себе имеет полномочие жить по законам, ему свойственным, а не обязан служить переходною формой для другого» [15], каждая нация также вносит в мировую жизнь свое «органическое начало». Причем «русское начало» внутренне раздвоено: «одним его полюсом является суровость нравов и строгие каноны веры, другим — неудержимая стихийность „широкой души“, грешной в своих проявлениях, но и осознающей свою грешность» [16].

Достоевский также долгие годы размышлял о природе «русской идеи», как свидетельствует, в частности, его письмо к поэту А. Майкову, отправленное из Семипалатинска 18 января 1856 г., следовательно, еще из ссылки, где он пишет «о патриотизме, об русской идее, об чувстве долга, чести национальной...» [17, т. 28, кн. I, с. 208]. Теперь же он доказывал: «Мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал» [17, т. 18, с. 36]. Эта «почва» — русский народ, являющийся основой национальной субстанции, а также источником и сокровищницей нравственных ценностей. И тут — словно по классической схеме славянофилов — появляется образ богобоязненного и праведного народа, жившего «некогда», но до царя Петра, по своей «внутренней правде», т. е. в сельских общинах, которые находятся в образцовой гармонии с государственной властью, справедливо осуществляемой царем — отцом своих подданных. Отсюда также убежденность писателя в изначальной тождественности русского крестьянства с хри-

стианством, а религии с нравственностью. «Я православие,— пишет Достоевский,— определяю не мистической верой, а человеколюбием». Элемент веры есть совесть и честь [13, с. 563, 565]. Основательное же изучение христологии писателя — как позитивной, так и негативной — позволяет сделать вывод, что его Христос, которого русский народ любит «на свой собственный лад, т. е. до боли»,— это, в сущности, идеальный человек. В. Бенедиктович, теолог, пошел дальше и прямо заявил, что это аватара славянофильской утопии писателя [18].

Достоевский соглашается со славянофилами и в том, что реформы Петра I обошлись России слишком дорого. В результате прививки «западных форм» процесс разрушения традиционного *totum humanum* и расщепления жизни вторгся в Россию. Ибо, с одной стороны, это привело к исключению народа из государственной жизни, лишая национальный организм той мощной животворной силы, которая так наглядно проявилась в 1812 г. С другой стороны, произошел отрыв интеллигенции от «почвы», т. е. национальной субстанции. В силу своих либеральных или социалистических взглядов русская интеллигенция отстранилась от государства; от народа же ее отделяла культурная пропасть. Однако в отличие от славянофилов Достоевский не видел ни возможности, ни необходимости повернуть вспять колесо истории. Как раз наоборот. Истинная натура русского народа только теперь и сможет проявиться. Условия для этого создает крестьянская реформа 1861 г., которая закрывает прежний период истории и открывает новые перспективы. Это же, по мнению писателя, означает конец разрыва между народом и интеллигенцией, конец розни на почве раздела собственности (земли).

Сплочение интеллигенции с народом и принятие его идеалов предполагает, согласно Достоевскому, поднятие народа до уровня интеллигенции, а не — как постулировал Толстой — схождение в народ: «Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не будет к тому предварительно подготовлен». Поэтому: «Распространение образования усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало — вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой деятельности» [17, т. 18, с. 37].

Сплоченная таким образом и нравственно возрожденная Россия сможет окончательно преодолеть впитанные со времен Петра I элементы западной культуры, вновь обрести ощущение своей культурной самобытности и исполнить свою историческую миссию, давая Европе пример мирного, органичного развития на основе единения народа с интеллигенцией, образованных слоев общества с народной стихией. «Да,— пишет Достоевский,— мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех современных европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нем все наоборот. Все европейцы идут к одной и той же цели, к одному и тому же идеалу; это бесспорно так. Но все они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны друг к другу до непримиримости, и все более и более расходятся по разным путям, уклоняясь от общей дороги. Повидимому, каждый из них стремится отыскать общечеловеческий идеал у себя, своими собственными силами, и потому все вместе вредят сами себе и своему делу». А вот что говорится о перспективах: «И кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно предназначено ждать, пока вы кончите; тем временем проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений ваших; согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения и, наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних, сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собою». Достоевский убежден, что «русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях», и тогда «все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности», причем единствен-

ной основой, на которой это может осуществиться, является всеобщее добровольное духовное примирение. О реальности такой перспективы свидетельствует феномен Пушкина: «Мы поняли в нем, что русский идеал — всецелость, всепримиримость, всечеловечность» [17, т. 18, с. 36—69]. Это убеждение Достоевский сохраняет до конца — до знаменитой «Речи о Пушкине».

Вырисовывающаяся здесь концепция мессианства опирается на своеобразную мистику народа, которую излагает, в частности, Шатов в «Бесах».

Разум и наука — напоминает Шатов Ставрогину его слова — всегда играли в жизни народов второстепенную роль, ибо разум не в силах хотя бы приблизительно отделить зло от добра, причем наибольший вред причиняет здесь распространяющаяся полунука — самый страшный бич, «хуже мора, голода и войны». Это явный отклик на натуралистическую и эволюционистскую модель общественных наук, ведущую в результате к сциентистской вере в науку как единственную и достаточную гарантию устранения любых общественных недугов.

Созидает народы, согласно Шатову, совершенно иная сила, происхождение которой неизвестно и которая проявляется как «искание Бога». Что есть Бог? Бог — это «синтетическая личность всего народа». Поэтому никогда еще не было, «чтобы у всех или у многих народов был один общий Бог». Чем сильнее народ, тем «особливее» его Бог. Когда боги начинают становиться общими — это признак умирания самих народов. Утрачивая собственного Бога, народ утрачивает свою религию, т. е. собственные представления о добре и зле, и умирает. Отсюда целью народной жизни является искание собственного Бога и вера в него как в единого истинного. Если великий народ не верует, что в нем одна истина и поэтому он призван «воскресить и спасти» все другие народы, то такой народ перестает быть великим народом и «обращается в этнографический материал». Великий народ не может примириться со второстепенной ролью в истории человечества, или даже с первостепенной, «а непременно и исключительно с первой». Этим народом, который имеет в себе истинного Бога (народ-богоносец) и которому единственному даны «ключи жизни и нового слова», является, очевидно, русский народ. На упрек, что таким образом Бог низводится до атрибута народности, Шатов отвечает: «Напротив, народ возношу до Бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ — это тело Божие».

Следовательно, для Шатова несомненно, что русский должен быть православным, а утрата веры равнозначна выпадению из национальной общности. А чтобы вернуть свой утраченный национальный статус, необходимо выпросить прощение у родной земли. «Целуйте землю, облейте слезами, просите прощения!» — это совет Шатова во многом утратившему свою человечность Ставрогину.

Мистика Шатова и его концепция избранного народа, конечно, не оригинальна — он повторяет аргументацию, которой оперирует еврейское, немецкое или польское мессианство. В этом отношении можно было также признать его рупором идей самого Достоевского. Дело, однако в том, что правда литературного произведения иной природы, чем правда трактата, представленного в дискурсивной форме. Высказывание этого героя «Бесов» дополнительно определяет его положение в фабульной структуре романа. Сам по себе Шатов — добрый и снисходительный человек. Он заботится о Марии-Хромоножке, дает приют своей беспутной жене с ребенком. В его биографии и поведении нет каких-либо элементов агрессии. Его идеология носит явно защитный характер.

Во-первых, это неприятие той картины всеобщей тирании, которую рисует «бес» Шигалев. Более того. Обоснованным также представляется предположение, что Шатова убивают как представителя идеологии, конкурентной по отношению к космополитизму «бесов».

Во-вторых, мистика народа, которую проповедует Шатов, направлена против разрушающего личность национального нигилизма и культурного отчуждения Ставрогина, которому — как он признает в своем прощальном письме — все в России «так же чужое, как и везде». В конечном итоге это

означает распад личности. Как мы помним, Ставрогин — несостоявшийся гражданин швейцарского кантона Ури, и следовательно национальный отщепенец — в конце вешается. Тут нет романтического выстрела, есть петля Иуды. И Крафт в «Подростке» совершает самоубийство потому, что пришел к выводу, что в качестве русского не стоит жить, ибо «русский народ есть народ второстепенный», предназначение которого «послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества» [17, т. 13, с. 44].

В-третьих, национализация Бога и апофеоз «почвы», связанный с древним славянским культом матери-земли¹, находятся в явной оппозиции к христианскому универсализму; они представляют собой попытку найти опору для нравственных ценностей перед лицом их прогрессирующей девальвации и усугубляющегося аксиологического хаоса.

В-четвертых, наконец, национальное мессианство Шатова — это протест против исторического инструментализма гегельянского типа, а следовательно также против теории непрерывного всеобщего прогресса или — как это определяет Иван в «Братьях Карамазовых» — принципа будущей гармонии, которая (как бы разом оправдает сегодняшние жертвы и преступления. Шатов (и Достоевский) явно отходит от однолинейной схемы истории (Абсолютный дух, всеобщий прогресс). История является тут как полицентрическая драма народов, каждый из которых имеет свою собственную, неповторимую индивидуальность.

К вопросу национального сознания и достоинства как конститутивного элемента личности Достоевский возвращается многократно. Обратимся в этой связи к двум статьям, опубликованным в июльско-августовском номере «Дневника писателя» за 1876 г.: «Русский язык или французский?» и «На каком языке выступает будущая опора отечества?». В черновиках же он записывает с сарказмом замечания типа: «Иностранные языки ужасно полезны, но не иначе как, когда заправился на русском. То же в классических языках — никакой пользы без русского языка. А русский язык именно в загоне, — и по-французски мыслить научится и будет *международный межеумок*, каких у нас уже довольно» [13, с. 552]. Или: «Ну как сравнить, например, по величию благозвучия такие собственные имена, например, лорд Дарби, лорд Сомерсет, Герезон Давоншир — с Нарышкиным, Репниным. ... Ну а что такое наше русское имя. Монтано, например, как грациозно, и строго и грациозно. А тут Иванов, Куприянов, — фу, как неблагозвучно» [13, с. 567]. И все же — доказывал — «общечеловечность не иначе достигнется как упором в свою национальность каждого народа» [13, с. 186].

Если говорить об именах, то теперь, спустя более чем сто лет, мы наблюдаем, пожалуй, обратный процесс. Русские фамилии в моде. В общем же проблема отнюдь не утратила своей актуальности [20].

Как бы мы ни оценивали претензии «почвенничества» на роль национальной идеологии, несомненной заслугой Достоевского является то, что он отстаивал самобытность национальной культуры и ее истинные ценности в то время, когда понятие нации было уже сильно подорвано буржуазным индивидуализмом и международным капиталом («Преступление и наказание», «Подросток» или, например, «Алеко и держиморда»). Он исходил при этом из правильной предпосылки, что гармоничное развитие личности невозможно без преодоления исторического сиротства и укоренения в национальной общности.

Напрashaющийся вопрос, насколько «почвенничество» вдохновило Н. Данилевского на создание теории культурно-исторических типов («Россия и Европа») и насколько эта известная теория подкрепила концепцию народа у Достоевского — мы оставляем открытым, подчеркивая лишь, что Достоевский явно не разделял наивной веры Данилевского в существование так называемых нейтральных элементов культуры, которые могут быть заимствованы без нравственных и социальных последствий для воспринявшей их культуры. Поэтому он так гневно выступает

¹ Т. Позыняк здесь указывает еще на другие истоки этих идей (ср. [19]).

против преклонения перед Западом. В заметках писателя мы находим такую запись: «Ибо всякий немец, прибитый русским, несомненно считает в лице своем оскорбленною и всю свою нацию. Русский, прибитый немцем, ничего не подумает о своей нации, но зато утешится, что все-таки получил плюху от цивилизованного человека» [13, с. 293].

Формально группа «почвенников» существовала очень недолго. Уже в апреле 1863 г. журнал «Время» был запрещен и перестал выходить. В следующем году умирают М. Достоевский и А. Григорьев. Н. Страхов со временем пойдет своим путем. Несмотря на это, идеология «почвенничества», главным образом через творчество Достоевского, оставит прочный след в русской духовности и культуре, повлияет также и на восприятие этой культуры.

Как уже говорилось, поводом для закрытия журнала «Время» была статья Н. Страхова «Роковой вопрос», посвященная «польскому вопросу» после начала январского восстания в Польше. Как бы мы ни оценивали эту статью, все же остается фактом, что журнал не присоединился к грубым антипольским нападениям, подобно В. Ключникову, В. Авенариусу, В. Крестовскому, К. Орловскому-Головину, В. Авсеенко или Б. Маркевичу; не печатал и верноподданнических заявлений по этому случаю, подобно тому, как это сделал изысканный либерал И. Тургенев, решительный сторонник западной ориентации [21].

Добавим, что национальное мессианство станет той основой, на которой писатель объединит славянофильскую традицию (с ее программной неприязнью к институту государства) и представление о могущественной федерации славянских стран.

2. Панславизм. Здесь на Достоевского, как правило, обрушивается шквал критики. Дежурным обвинением служит его многолетняя связь с М. Катковым. Относительно политической ориентации Каткова нет двух мнений. Расчетливый и предприимчивый, он выдвинулся после реформы 1861 г., а также на волне антипольской кампании после январского восстания 1863 г., и в рассматриваемое время, в период войны с Турцией (1877—1878), стал одним из столпов официальной идеологии, в которой доминирующим элементом был панславизм. Катков был, однако, человеком неоднозначным. На страницах журнала «Русский вестник», который он издавал, кроме постоянно нуждавшегося в авансах Достоевского, печатались, в частности, И. Тургенев, Л. Толстой и А. Толстой. Чем бы ни руководствовался издатель, объективно он несомненно имеет заслуги перед отечественной культурой. Более того, он был горячим поборником усовершенствования и некоторой демократизации системы власти применительно к развивающимся новым, капиталистическим структурам в экономике. Разумеется, путем реформ сверху, ибо Катков был решительным врагом любых революций. Но правда также и то, что в тогдашней России ничто не предвещало революции, не было альтернативной реальной программы ускорения развития страны. Как явствует из переписки, Достоевский очень сдержанно наблюдал за извилистым путем карьеры Каткова, хотя в последние годы жизни писателя отношения между ними складывались корректно. Немалую роль в этом сыграла ситуация в России и на международной арене.

Оценка панславизма — также не простая проблема. Для краткости мы напомним здесь только о Славянском конгрессе 1848 г., а также о парижских лекциях Мицкевича, посвященных славянским литературам. «Мицкевич, — пишет Б. Лимановский, — как ученик Лелевеля считал общинное владение землей славянской особенностью». В «Первых веках польской истории», написанных уже в эмиграции, указывая на следы общности у славян до создания Королевства Польского, он отмечает: «Эта общность владения издревле характерна для славянства и происходит из их земледельческого образа жизни и их религиозных представлений» [22].

Национально-освободительные движения издавна обращались к идее панславизма, в их программах на первый план выдвигалась мысль о могущественной федерации славянских земель под эгидой России, бывшей

тогда единственным суверенным славянским государством. С другой же стороны, царское правительство поддерживало движение в помощь балканским славянам, а также деятельность славянских благотворительных комитетов. Первый такой комитет появился в Москве (1858), затем в Петербурге (1868), Киеве (1868) и Одессе (1870). Первоначально вокруг комитетов объединялись главным образом славянофилы, но славянофильство как интеллектуальное течение было уже на исходе.

Достоевский был связан с петербургским Славянским обществом благотворительности. В феврале 1880 г. он был избран сопредседателем общества, а в конце мая и начале июня представлял общество на торжествах, связанных с открытием памятника Пушкину в Москве.

В середине 70-х годов в связи с нарастающим волнением на Балканах панславистские тенденции усилились. На помощь повстанцам в Боснии и Герцеговине (1875), а вскоре затем (середина 1876) Сербии и Черногории, которые объявили войну Турции, потоком хлынули добровольцы из России, среди них много народников, которые хотели тем самым показать, что они борются не только за свободу собственного народа. Эйфория была всеобщей. Причем немаловажным консолидирующим фактором в этом служили общая религия и родство языков [23].

Перспектива взятия Константинополя и создания славянской федерации на развалинах Порты казалась писателю чрезвычайно реальной и близкой. Кроме того, с балканским вопросом он связывал надежду на нравственное возрождение в самой России. Поэтому, хотя он был решительным противником насилия, эту войну все же считал справедливой и полезной, если не святой. В своем пасхальном послании от 16 апреля 1878 г. генералу Ф. Радецкому, приятелю со студенческих лет, ставшему теперь героем Шипки, он писал: «Христос воскрес! И да воскреснет к жизни труждающееся и обремененное великое Славянское племя усилиями таких, как Вы, исполнителей всеобщего и великого русского дела.

А вместе с тем да вступит и наш русский „европеизм“ на новую, светлую и православную Христову дорогу. И бесспорно, что самая лучшая часть России теперь с Вами, там, за Балканами. Воротясь домой со славою, она принесет с Востока и новый свет. Так многие здесь теперь верят и ожидают» [17, т. 30, с. 20].

По-разному представлялась будущая славянская общность разным людям. Достоевский же замечал: «Мы представим изумительное зрелище народа без захватов. Мы не станем поляка обращать в русского, но когда поляк или чех захотят быть действительно нашими братьями, мы дадим автономии, ибо и при автономии не разрушится связь наша, и они будут тянуться к нам, как к другу, к старшему брату, к великому центру» [13, с. 523]. Вместе с тем польско-русский конфликт с давних пор представлялся писателю прелюдией будущей конфронтации православия с католицизмом, «славянского гения с европейской цивилизацией». Освобождение и воскрешение славянства позволит Польше в будущем ожидать «равной судьбы со всяким славянским племенем». Пока же действия польских магнатов и иерархов, связанных с Римом, вызывают далеко идущую сдержанность и заставляют вспомнить скорее образ Конрада Валенрода («Летняя попытка Старой Польши мириться»). Роковое влияние оказывают на сознание славянских народов и происки Англии и Германии, поэтому — как замечает Достоевский в ноябрьском номере «Дневника писателя» за 1877 г. — необходимо принимать во внимание и такую ситуацию, что славянские племена «чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными», повернутся против России и «даже о турках станут говорить с большим уважением, чем об России». Это, однако, неизбежные издержки собственной великой исторической миссии [17, т. 26, с. 77, 79]. Понятно, что выводы такого рода вызывали протест со стороны поляков.

Берлинский договор, подписания которого добились Англия и Австрия, был далеко идущим пересмотром положений мирного договора в Сан-Стефано, заключенного 19 февраля 1878 г. после победы России в войне с Турцией. Он предусматривал признание независимости Румы-

нии, Сербии и Черногории, а также создание автономного Болгарского княжества под протекторатом султана; Австрия получала Боснию и Герцеговину; еще до этого Англия обосновалась на Кипре; Россия же получила от Турции лишь еще одну часть Армении, от Румынии — Северную Бессарабию взамен Добруджи. Это было немалым достижением для балканских славян, но в настроениях преобладало разочарование. Повсюду жаловались на неумелость правительства и медлительность, если не продажность царской дипломатии, проявляющей пассивность по отношению к действиям Англии и ее премьера лорда Дизраэли.

Достоевский продолжает связывать будущее славянства с могуществом России и вызреванием у славянских народов чувства братской солидарности. Обоснование этого положения носит у писателя отчасти мифический, отчасти интуитивный характер. Хотя во многих вопросах писатель крайне заблуждался, однако в целом история подтвердила его правоту. Ведь фактом является то, что Россия понесла основные и страшные потери в срыве «Генерального плана Ост» (1941), т. е. гитлеровского плана уничтожения славян. Фактом является также то, что все славянские страны входят ныне в социалистическое сообщество народов и что история славянского братства — это отнюдь не прямое продвижение к идеалу.

3. «Православный социализм». Путешествия на Запад и сделанные там наблюдения, начиная с известных «Зимних заметок о летних впечатлениях» (1863), укрепят Достоевского в убеждении об антигуманном характере тамошней цивилизации. Критику Запада писатель сочетает с полным осуждением католицизма. С другой же стороны — он отвергает революционный социализм по причине как его исторически ограниченных целей, так и методов. Этот социализм, стремящийся к разрешению судеб Европы «вне Христа», — доказывает он, — возник как неизбежное следствие эрозии христианского начала в католицизме. Эта мысль, шокирующая некоторых авторов [25], не кажется нам совсем абсурдной. Поэтому мы согласимся тут скорее с фундаменталистом К. Леонтьевым, который связывает критику «розового христианства» Достоевского с «новым христианством» Сен-Симона и «истинным христианством» Кабе [26]. А вот как сам Достоевский определял свой «русский социализм», т. е. православный, в январском номере «Дневника писателя» за 1881 г., т. е. в конце жизни: «Я не про здание церковное теперь говорю и не про причты, я про наш русский „социализм“ теперь говорю (и это обратно противоположное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни казалось бы это странным), цель и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее» [17, т. 27, с. 18—19].

Дело в том, — доказывал он на страницах «Дневника писателя», — что формула объединения мира, провозглашенная Французской революцией, оказалась слишком узкой, ибо не охватила трех четвертей человечества: так называемого пролетариата, разоренного мещанства и крестьянства. Теперь же эти обойденные при разделе бедняки Европы уже не уступят и не пойдут ни на какое «примирение, даже если бы им все отдавали: они все будут думать, что их обманывают и обсчитывают. Они хотят расправиться сами» [17, т. 22, с. 86], ибо теперь, т. е. «после политического социализма, после интернационалки, социальных конгрессов и Парижской коммуны», пролетарий не будет терпеливо ждать, умирая с голоду. Он бросится на Европу и та падет в руинах: «Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в дверь и, если ему не отворят, сломает дверь» [17, т. 26, с. 168], результат же будет такой, что «нынешний век кончится в старой Европе чем-нибудь колоссальным... хотя и не буквально похожим на то, чем кончилось восемнадцатое столетие, но все же настолько же колоссальным, — стихийным, и страшным, и тс же с изменением лика мира сего — по крайней мере, на Западе старой Европы» [17, т. 25, с. 148]. Но тогда снова другие будут «обойдены» и начнут напоминать о своих правах. И не поможет тут никакое учреждение, снабженное вывеской: *Liberté, Egalité, Fraternité*, «так что придется —

необходимо, неминуемо придется — присовокупить к трем „учредительным“ словечкам четвертое: „ou la mort“. Поэтому и лозунг, провозглашенный на Западе буржуазией, нельзя признать естественным, а неестественность его заключается в том, что небольшая часть человечества держит в неволе все остальное человечество» [17, т. 26, с. 165—167]. Происходит это потому, что на Западе гражданское общество берет за основу не религиозный, т. е. нравственный, идеал, а формулу «муравейника», лишаящую человека его права быть субъектом. Ту самую формулу, против которой так яростно протестует герой «Записок из подполья». Убеждение Достоевского в «буржуазности» революционного социализма укреплялось богоборческими традициями буржуазии на Западе, ее беспощадной критикой религии и церкви в период борьбы за власть, особенно во время Французской революции 1789 г. Процесс обращения буржуазии к богу по мере укрепления ее классового господства остается за пределами внимания Достоевского — в силу сложившегося у него представления, что ни католицизм, ни протестантизм не являются подлинным христианством.

«Русские нигилисты» равно привлекают и пугают писателя. Привлекают — ибо глубинные мотивы их деятельности ему не чужды. «*Нечаевым*, — признается он, — вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но *Нечаевцем*, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности». Так он писал в статье «Одна из современных фальшей» в 1873 г., и следовательно, сразу после «Бесов». Пугают — ибо «вне Христа» писатель не видит основания нравственных ценностей и норм, без нравственного же идеала всякое исправление структур истории «критически мыслящей личностью» чревато тиранией.

Оставим в стороне тогдашнюю полемику вокруг «Бесов» как пасквиля на революцию. Марксистская оценка терроризма и считающегося произведением Бакунина «Катехизиса анархиста» уже давно ясна. Это касается также «казарменного коммунизма», теоретиком которого история человечества представляется пропагандой и реализацией их собственных социальных проектов [27]. Здесь остановимся на раскрытии писателем внутренней логики терроризма. Именно на этот аспект романа «Бесы» обращал внимание историк Ф. Рышка, усматривая в Петре Верховенском литературный архетип террориста. Верховенский, пишет Рышка, хочет уничтожить социальную основу, сея страх. Это ловкий, умный и циничный мерзавец. Он хорошо знает, что надо убить невинного, чтобы путем совместного убийства преградить заговорщикам путь к отступлению. Убить, чтобы запугать и при помощи страха деморализовать окружающих. «Ведь каждый ваш шаг, — объясняет он заговорщикам, — пока в том, чтобы все рушилось: и государство и его нравственность. Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти: умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом». С другой стороны, однако, — завершает свою мысль Рышка, — даже в поведении Петра Степановича кроется что-то, что позволяет заметить нечто большее, чем само по себе стремление к власти и жажда уничтожения. Он подбирает своих людей из числа «униженных и оскорбленных» и хотя не обязательно эти люди с самого низа социальной иерархии, тем не менее сами их судьбы как бы предрасполагают их стать террористами. Это деклассированные мещане и подверженные фрустрации интеллигенты. Они живут на грани нищеты, хотя на этот путь их толкает не столько нужда, сколько мнимое либо действительное бессилие перед своей судьбой. Это бессилие толкает их к «магическому помощнику» (Эрих Фромм), т. е. к носителю идеи, которую представляет террорист и нигилист Верховенский. Разумеется, — добавляет Рышка, и это дополнение очень важно, — среди прежних и современных террористов всегда находились жертвы жестокой эксплуатации и беспощадного угнетения со стороны властей; эти люди не сумели найти либо не хотели искать другого выхода, чем террористические акты [28].

Историософское обоснование своего «православного социализма» Достоевский формулирует, в частности, в статье «Три идеи» в 1877 г.

Это — идея католическая, идея протестантская и идея славянская. Первая идея ответственна за ужасающее положение «европейского человечества»; протестантская идея как отрицание католицизма существует лишь как его теневое отражение; славянская, или православная, идея только теперь «засияла небывалым и неслыханным еще светом» как идея спасительная «для судеб человеческих и Европы».

В том, что человечество с давних пор настоятельно нуждается в спасении, нас должен был убедить, в частности, апокалиптический сон Раскольникова в «Преступлении и наказании». Как мы помним, причиной полной разобщенности становятся «взрелые идеи», проникающие в душу людей и целых народов, подобно злым духам в евангельском стаде: «Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. <...> Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. <...> Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. <...> Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало» [17, т. 6, с. 419—420].

Как бы ни был страшен случай Раскольникова с его «нравственной арифметикой», теперь, на этапе «Братьев Карамазовых», Достоевский идет значительно дальше, показывая преступление как «совокупный продукт». Преступление Раскольникова, совершенное в столичном Петербурге, оставалось, так сказать, штучным изделием: Раскольников — одновременно теоретик и исполнитель преступления, он же как фактический убийца понесет наказание. Действие «Бесов» происходит в губернском городе. Провинция начинает догонять столицу. Ужаснейшее из преступлений — отцеубийство — происходит в уездном городишке, прежде спокойно дрейфующем в стороне от основного течения событий. Кроме того, это преступление в «Братьях Карамазовых» является результатом коллективных действий, почти как в семейной мануфактуре: жертвой преступления является отец Федор Карамазов, теоретиком или идеологом — сын Иван, фактическим исполнителем — предполагаемый внебрачный сын Павел Смердяков, суд же приговорит первородного сына Дмитрия. Алеша, младший и благочестивый сын, — пассивный, но все же участник событий. Нашумевший процесс, на который съедется в захолустный городишко с неприятным названием (Скотопригоньевск) цвет адвокатуры, напоминает скорее празднество, которое разнообразит безысходную скуку повседневности. Еще один шаг — и возникает нечто вроде разрешения на преступление. Как представляется, именно на этот феномен «мануфактурного преступления», предвосхищающего позднейшие преступления индустриального масштаба, до сих пор не обращалось должного внимания.

Наиболее выразительно недоверие писателя к мещанскому гуманизму с его расчетливым подходом к жизни проявляется в так называемой «Легенде о Великом Инквизиторе», которая предваряет в «Братьях Карамазовых» изложение теологии и социальной доктрины «старца» Зосимы.

Как известно, по проекту Великого Инквизитора люди получают хлеб и иллюзию бессмертия ценой свободы, что представляется прагматичному кардиналу весьма разумным и гуманным решением, так как все будут счастливы, десятки тысяч миллионов существ, у которых не будет достаточно силы, чтобы пренебречь «хлебом земным для небесного», все —

кроме хранителей Тайны, «взавших на себя проклятие познания добра и зла», и ради счастья маленьких людей они будут «манить их наградой небесною и вечною». Ведь «если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они». Патернализм кардинала основан на оценке человека как бунтовщика и слабосильного, страшщегося свободы. Не лишне тут будет напомнить концепцию «слабого человека», которую еще за тридцать лет до того изложил чернокнижник Мурин в «Хозяйке»: «Спознай, барин: слабому человеку одному не сдержаться! Только дай ему все, он сам же придет, все назад отдаст, дай ему полцарства земного в обладание, попробуй — ты думаешь что? Он тебе тут же в башмак тотчас спрячется, так умалится. Дай ему волюшку, слабому человеку, — сам ее свяжет, назад принесет» [17, т. I, с. 317].

На тему «Легенды» как антиутопии написано уже очень много. Здесь мы обратим внимание на то обстоятельство, что свою авторитарную власть Великий Инквизитор осуществляет с разрешения тех, кто утратил или отверг Абсолют, что действительные потребности — в смысле жизни, безопасности, счастья — могут быть удовлетворены с помощью обмана. Это, в сущности, тот же механизм, который объединяет «пятерку» Верховенского в «Бесах», только сублимированный и зашифрованный в универсальной символике Евангелия.

Что предлагает Достоевский? То, что содержится в молчании узанного, хотя и не названного Христа во время явления в Севилье. Толкованием этого молчания как раз является жизнь и учение «старца» Зосимы. Мощной опорой этой доктрины является содержащаяся в романе критика буржуазной морали, распада семьи, правосудия, нищеты.

Но подобно многим христианским критикам буржуазной культуры и капитализма [29], Достоевский переносит эту критику, а вместе с тем и попытки оздоровления в сферу духа. Противопоставление мира высших (духовных) ценностей — миру низших (материальных) потребностей, оппозиция «быть» и «иметь», приобретает тут остроту манихейского дуализма: Бог ведет борьбу с Дьяволом, а поле битвы — сердце человека, простертого между бездной добра и бездной зла. С одной стороны, «униженные и оскорбленные» заслуживают сочувствия, с другой же, их стремления к экспроприации и к освобождению — это дьявольское искушение. Постулируемое революционным социализмом радикальное исправление жизни на земле он заменяет исправлением духа — русского, славянского, человеческого. Общественные проблемы сглаживаются вследствие их перетолкования в этико-религиозном плане и возвышения земных ценностей. Острые социальные столкновения амортизируются на основе солидаризма, как например, в рассуждении Зосимы о господах и слугах. Теряет всякий смысл критика царизма и православной церкви в России, ибо несмотря на то, как цари и православная церковь запечатлелись в истории, их подлинное бытие находится вне истории — в сфере идеального. С этой точки зрения, капитализм — это прежде всего дух капитализма (извращенный Римом «идеал Христа»). Революционный социализм по Достоевскому своей программой экономических ревиндикаций, в сущности, способствует распространению капиталистического духа собственности, заражая им человечество. Отсюда истинная революция — это духовная революция, устремленная — в неопределенном будущем — к экуменическому единству.

Более пристальный взгляд на этот вопрос позволяет констатировать, что речь тут идет о «персоналистском сообществе», потенциально содержащемся в соборном православии. Актуализация этой возможности наступит тогда, когда люди станут братьями, обнаружат, что «жизнь есть рай, ибо рай в каждом из нас затаен». «Сие буди, буди!», — вещает «старец» Зосима. Его слова наводят на мысль, что критика существующей действительности призвана служить не столько изменению этой действительности, сколько обоснованию надежды, исходящей из веры, а также дискредитации любых помещаемых в историю программ гуманизации мира.

С другой стороны, однако, своеобразие «православного социализма» Достоевского состоит в попытке преодолеть индивидуалистический ха-

ракет буржуазного гуманизма, ориентируя человека на сообщество — от национального через славянское до православного, или универсального. Писатель при этом обильно черпает как из отечественной анархо-патриархальной традиции, так и из социалистической утопии сен-симонистов. Ориентация на «персоналистскую общность» сочетается у Достоевского с явным отходом от традиционной религиозности, с установкой на диалог с миром, с постулатом активной любви, в которой участвует также природа. Тайну своего существования человек открывает в историческом времени, которое открывает ему его будущее. В этом смысле он всегда «в пути». Он должен воспринимать «знаки времени», осуществлять выбор и отвечать за его последствия. Следовательно, он ответствен за свою судьбу и за облик этого мира.

Путь к спасению, предложенный Достоевским, предполагает, что человечество может спастись при помощи своих собственных усилий, строя себе рай на земле. Этот граничащий с отступничеством тезис — великое открытие Достоевского. Ибо таким образом эсхатологическая угроза — призрак Страшного Суда — становится условной угрозой. Человек же поднимается до уровня партнера, если не соперника Бога в деле творения.

Эта двойная ориентация «православного социализма» — общинная и антропоцентрическая — запутывает мысль Достоевского в двойной антитечности. Далеко идущее заземление идеала Христа углубляет противоречия в постулируемой модели христианства, с другой же стороны, делает возможным его определенное приспособление к десакрализирующемуся миру.

Достоевский проявляет при этом превосходное понимание эпохи и ее дилемм, он предлагает и одновременно подвергает сомнению собственные решения, с необыкновенной страстью преследует фальшь и вскрывает рискованность ложных решений, разоблачает псевдоочевидные истины, например, то, что прогресс требует жертв, что цель оправдывает средства, что будущая гармония уравнивает преступления истории, а желаемое материальное благополучие когда-нибудь исчерпает устремления человека и устранил его экзистенциальные проблемы.

Этот подход на многие годы опередил концепцию «union différenciée» Пьера Тейяра де Шардена. Много свидетельствует и о том, что «православный социализм» Достоевского вдохновил Эмманюэля Мунье на создание его программы антикапиталистической духовной революции.

Вместе с тем характерной особенностью экуменизма Достоевского — в противоположность католическим концепциям — остается глубокая укорененность в национальной общности. В заключение обратимся еще раз к записным книжкам писателя за 1863—1864 гг.: «Мы не считаем национальность последним словом и последнею целью человечества... Но общечеловечность не иначе достигается как упором в свою национальность каждого народа» [13, с. 186].

Конечно, трудно не заметить, что «православный социализм» Достоевского, особенно в изложении романного Зосимы, является также патерналистским предложением. А именно — путь к земному раю, т. е. к истинно братскому, спонтанному единству во Христе, предполагает вначале полное и безусловное подчинение воле «старца». Одни принимают это предложение и ждут, когда исполнится обет, другие берут дело исправления мира в свои руки, на собственный риск и ответственность. Однако и для тех и для других урок Достоевского слишком ценен, чтобы его можно было не заметить или забыть*.

* От редакции. Рассматриваемая Д. Кулаковской проблема применительно к «Запискам из Мертвого дома», которых она не касается, довольно подробно и с тех же позиций освещена В. А. Дьяковым (см. Дьяков В. А. Каторжные годы Ф. М. Достоевского (По новым источникам). — В сб.: Политическая ссылка в Сибири XIX — начала XX в. Историография и источники. Новосибирск, 1987, с. 196—220.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Aleksiejew M.* «Historia przyszłości» Mickiewicza a myśl utopijna w Rosji.— In: *Polonistyka radziecka. Wybór, wstęp i noty o autorach B. Białokozowicz.* Warszawa, 1985, s. 236.
2. *Wollman F.* Vom Geiste des literarischen Schaffens bei den Slaven.— *Slavische Rundschau*, 1942. № 2, S. 115—122.
3. *Kulakowska D.* Dostojewski. Antynomie humanizmu według «Braci Karamazowów». Wrocław, 1987.
4. *Revel J. F.* Poruquoi des philosophes? suivi de la Cabale des devotes. Paris, 1979, p. 178—179.
5. *Jaroszewski T. M.* Fenomenologia wolności Fiodora Dostojewskiego.— *Człowiek i Światopogląd*, 1981, № 5, s. 96—97.
6. *Löwenthal L.* Recepcja dzieła Dostojewskiego w Niemczech: 1880—1920.— In: *W kręgu socjologii literatury. Wstęp, wybór i opracowanie A. Mencwel. T. 2.* Warszawa, 1980, s. 90.
7. *Białokozowicz B.* O polsko-rosyjskich związkach literackich i rusycystyce polskiej.— *Kierunki*, 1971, № 44, s. 3.
8. *Sielicki F.* Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej. Warszawa, 1985, s. 323.
9. *Mucha B.* W kręgu «przeklętych problemów» Dostojewskiego: Kwestia polska w interpretacji pisarza.— *Rocznik Komisji Historyczno-literackiej*, t. XXI. Wrocław, 1984, s. 92.
10. *Lazari A.* «Poczwinnictwo». Z badań nad historią idei w Rosji. Łódź, 1988.
11. *Luźny R.* Dostojewski w dziejach intelektualnych Rosji.— *Rocznik Komisji Historyczno-literackiej*, t. XX. Wrocław, 1983, s. 139—146.
12. *Raźny A.* U źródeł ethosu Dostojewskiego-słowianofila.— *Rocznik Komisji Historyczno-literackiej*, t. XX. Wrocław, 1983, s. 163—169.
13. Литературное наследство. Незаданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860—1881 гг. М., 1971, с. 158.
14. *Jasiński B.* Istnieć znaczy tworzyć. Warszawa, 1986.
15. *Григорьев А.* Соч., т. 1. Спб., 1876, с. 209.
16. *Walicki A.* W kręgu konserwatywnej utopii. Warszawa, 1964, s. 411.
17. *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. в 30-ти томах.
18. *Benedyktowicz W.* Ojcowie współczesności. Dostojewski.— *Rocznik Teologiczny. Chrześcijańska Akademia Teologiczna*, 1972, z. 2, t. XIV, s. 34.
19. *Poźniak T.* Mit azjatycko-koraniczny u Dostojewskiego.— *Acta Universitatis Wratislaviensis*, 1985, № 784, s. 5.
20. *Lad*, 1988, 18 IX, s. 9.
21. *Semczuk A.* Dostojewski i Turgieniew.— *Slavia Orientalis*, 1972, № 3, s. 281—286.
22. *Limanowski B.* Historia demokracji polskiej. Cz. druga. Warszawa, 1946, s. 108.
23. *Bazyłow L.* Historia Rosji, t. II. Warszawa, 1985, s. 373—378.
24. Siedem lat katorgi. Pamiętniki Szymona Tokarzewskiego 1846—1857. Warszawa, 1907, s. 157 i in.
25. *Борщевский С.* Щедрин и Достоевский. М., 1960, с. 56.
26. *Леонтьев К.* Наши новые христиане. Ф. М. Достоевский и гр. Л. Толстой.— *Собр. соч.*, т. 8. М., 1882.
27. *Marks K., Engels F.* Dzieła, t. 4. Warszawa, 1962, s. 141.
28. *Ryszka F.* Przedmowa.— In: *Terroryzm polityczny* pod red. J. Muszyńskiego. Warszawa, 1981, s. 12—13.
29. *Jaroszewski T. M.* Osobowość i wspólnota. Warszawa, 1970. s. 353—423.



БОГОМОЛОВА Н. А.

ПОЛЬСКИЕ ПОЭТЫ XX В. В ПЕРЕВОДЕ АННЫ АХМАТОВОЙ

В переводческом наследии Анны Ахматовой значительное место занимает польская поэзия XX в.¹ Она переводила стихи Ю. Тувима², М. Павликовской-Ясножевской, В. Броневского, В. Шимборской.

Знаменательно, что именно Ахматова впервые познакомила советского читателя с поэзией Павликовской-Ясножевской. Мария Павликовская так же, как и русская поэтесса, тяготела к любовной лирике, однако сближает их не столько эта тема, сколько сила и характер поэтического дарования. Черты сходства, хотя и по-разному преломленные, проявляются в интенсивности переживания, в склонности к миниатюризации, в афористичности стиха, где всегда очень выразительна мысль, а за тонкостью и остротой чувства подчас скрыта ироничность.

Польскую поэтессу увлекали проблемы биологии. Подобно К. Бальмонту и А. Белому, она «раздумывала о солнце и человеке, прозревая таинственные связи между ними, считая, что мы, люди, произошли от этой великолепной звезды» [3, с. 19].

В отличие от лирики Ахматовой, где природа выступает как эмоциональный фон душевного переживания, у Павликовской она — центр притяжения, глубокий мир, аналогичный человеческой жизни, одухотворенный и одновременно заземленный. Однако при этом для обеих поэтесс характерно «включение» внешнего мира в душевный поток переживания. «Обе стихии — материальная и жизнь человеческого духа, — пишет о поэзии Ахматовой Е. Добин, — взаимопроникают...». И далее (речь идет о неодушевленных предметах. — Н. Б.): «... они обрели духовность. Истончились» [4]. Это определение применимо и к лирике Павликовской.

Ахматова перевела девять стихотворений польской поэтессы, относящихся к предвоенному времени и более позднему, периоду войны и эмиграции, среди них: «Пернатый» (цикл «Розовая магия», 1924), «Ураган» и «Ника» (цикл «Поцелуй», 1926), «Подсолнечник» и «Недоразумение» (сб. «Балет вьюнков», 1935), «Трены вислянские» (сб. «Последние стихи») и др.

Остановимся подробнее на двух стихотворениях М. Павликовской-Ясножевской в переводе Анны Ахматовой.

«Ураган» («Huragan») из цикла «Поцелуй» («Pocałunki»):

Niebo się gniewa,
obłoki nadbiegają w tłumie!
Szczęśliwe drzewa!
Będą się mogły wyszumieć!

Богомолова Наталья Андреевна — канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ Переводы Ахматовой опубликованы в книгах: [1].

² О переводах поэзии Ю. Тувима см. [2].

Небо в черном гневе.
Толпы туч. Рокот.
Счастливы деревья!
Вышуметься могут!

В польской (да и не только польской) поэзии написано много стихотворений о бурях и грозах, но, пожалуй, никто до Павликовской-Ясножевской (во всяком случае, в польской поэзии) на таком «сжатом» стихотворном пространстве не создал картины разбушевавшейся стихии. Главное в ней — не визуальное начало, а внутренний драматизм, скрытая энергия, вырывающаяся в эмоциональных вспышках, запечатленных в восклицательных знаках (их три в оригинале).

Стихотворение состоит из 4-х строк, и внутри них сохраняется тенденция к миниатюризации (варьируются строки из 2-х и 3-х значимых слов, связанных перекрестной рифмой, с чуть заметной ее неточностью в последней строке — «*Mumie-wyszumieć*» — из-за закрытого слога).

Миниатюра разделена на две части: в центре ее — природа, в первой части она «царит» безраздельно, во вторую врывается авторский голос. Это семантическое деление поддерживается и интонационно-синтаксической четко выраженной параллелью. Казалось бы, что в стихотворении, где рисуется картина урагана, наше восприятие должно быть настроено, прежде всего, на движение и звук, здесь же метафора первой строки («*niebo się gniewa*») сразу акцентирует эмоциональный момент.

Безусловно, перед переводчицей стояла сложная задача: необходимо было сохранить и семантику (для миниатюры значимо каждое слово), и интонационно-синтаксическую параллель с сочленением связанных рифмой строк. Конечно, чем-то пришлось пожертвовать, и все же перевод Ахматовой показывает, насколько интересным было ее поистине «состязание» (!) с текстом оригинала.

Уже первую строку с ее неожиданной метафорой русская поэтесса чуть изменила:

Небо в черном гневе,

усилив эмоциональную окраску и «прояснив» цвет, который подразумевается, но скрыт в оригинале (удлинилась соответственно и строка, неуловимо изменился и ритмический рисунок).

Во второй строке, сохранив тенденцию к замене глагола существительными, Ахматова применяет прием цезуры, пресекая строку, разрывая ее на две части:

Толпы туч. Рокот.

Движение и остановка..., неожиданно «включается» звук, который скрыт в оригинале. Отступление? Да, но оно дает свой эффект. «В стихотворной речи пресечение материализуется в строфные, строчные, цезурные и словесные разделы. Конец строфы, конец строки, конец полустихия, наконец, слова — это не статические вехи, отделяющие один элемент от другого, а моменты динамические, создающие ритмическое движение» [5]. Передавая нарастание звука, Ахматова как бы «закрепила» его и ритмически, при этом восклицательный знак ей оказался, действительно, не нужен.

Как уже отмечалось, в оригинале по своей эмоциональной нагрузке важна вторая часть, она, как всегда в миниатюрах, более ударная. Обращает на себя внимание глагол «*wyszumieć się*», для семантики стихотворения очень значительный. В. Дорощевский, давая различные его значения, в том числе и «поэтическое», как: «*szumiąc wyładować się*», «*wyżyć się*», «*naszumieć się*», ссылается непосредственно на анализируемую нами миниатюру [6].

По-русски этот синонимический ряд переводится, как: «разрядиться», «дать волю своей энергии». В варианте Ахматовой глагол «вышуметься», представляющий собой «кальку» с польского языка, воспринимается как

неологическое образование, передающее, однако, адекватное впечатление «порыва», заключенного в польском «wyszumieć się», хотя одновременно в контексте заключительных строк значение польского глагола можно воспринимать и в переносном смысле, как «самовыражение». Такое толкование поддерживается предшествующей строкой:

Szczęśliwe drzewa!,

которую Ахматова переводит:

Счастливы деревья!

Со смысловой точки зрения точнее было бы передать эту строку, как: «Счастливые деревья!». В этом случае была бы сохранена личностная окраска стихотворения, присущая Павликовской-Ясножевской «взаимосвязь» с природой (что непосредственно отражено во второй части). «Счастливые деревья» — в этой интерпретации осязатима зависть (у русской поэтессы — просто констатация их «счастья»), польская поэтесса откровенно «завидует» деревьям, которые в «урагане», «шуме» могут излить свою сущность, свою «энергию», скрытые в них могучие силы.

А вот одно из лучших, по признанию польской критики, стихотворений Павликовской-Ясножевской в переводе Ахматовой: «Недоразумение» («Nieporozumienie») из сборника «Балет вьюнков» («Balet powojów»):

Oto jaśnieje wieniec: galaktyka...
Oto zanosi się na śpiew słowika,
Na głos miłości, obcy ziemskim więzom...
W jaśminach — szelest...
Kotka czarno-siwa
Czeka i myśli:
«Śpiewające mięso
Da znać za chwilę, gdzie go poszukiwać...»

Вот светлый нимб: галактики сиянье.
Песнь соловья — со звездами слиянье,
Прочь от земли стремящаяся трасса...
В жасмине — шелест.
Кошка серой масти
Мечтает:
«Распевающее мясо
Даст знак сейчас — где на него напасть мне».

Перед нами «не встречавшаяся до сих пор атмосфера лирического приключения, лаконизм тематического выражения, концепция, преобразенная в фейерверк неожиданности...» [3, s. 16—17]. В этом восьмистишии действительно все подчинено эффекту неожиданности: и лирическая тема (ситуация), и образно-стилевая и интонационно-ритмическая структура, и строй рифм. Вслед за Павликовской русская поэтесса сохраняет и поддерживает этот эффект, полностью передавая свободный ритмико-интонационный (с паузными «разрывами») и рифмический рисунок (а-а-в — отсутствие рифмы — в-с). В соответствии с оригиналом романтизированы начальные строки, представляющие не только семантическое, но и интонационно-синтаксическое единство (их аналогия выделена в оригинале анафорой «oto — oto» и смежной рифмой, сохраненной в переводе):

Вот светлый нимб: галактики сиянье.
Песнь соловья — со звездами слиянье

(обращает на себя внимание традиционное для русской поэзии словесное созвучие «сиянье — слиянье»). Ср. в оригинале:

Oto jaśnieje wieniec: galaktyka...
Oto zanosi się na śpiew słowika.

Ахматовский перевод дает возможность за нарочитой поэтизацией ощутить и едва уловимую иронию. Третья строка, и в оригинале, и в переводе, семантически связанная с первыми, синтаксически выпадает из их симметрии, предвещая неожиданность. Не случайно она и у Павликовской, и у Ахматовой по принципу семантического контраста (противостояния высокого земному) оказывается связана рифмой с седьмой строкой:

Прочь от земли стремящаяся трасса
.....
Распевающее мясо

Ср. в оригинале:

Na głos miłości, obcy ziemskim więzom...
.....
Śpiewające mięso.

Неожиданное использование современного, а главное не поэтического слова «трасса» (на месте высокого образа: «obcy ziemskim więzom» — «чуждый земным узам»), как и разговорного по своей стилиевой окраске определения-причастия «распевающее» (на месте нейтрального в стилиевом отношении слова «śpiewające» — «поющее») усиливает «заземленность» и обнажает иронию, которая в оригинале выражена тоньше. Однако эти стилиевые отступления, свидетельствующие о привязанности русской поэтессы к живой речи, отчасти оправданы с точки зрения внутреннего контекста.

С четвертой строки обнажается двуплановость стихотворения, именно в ней эффект неожиданности:

В жасмине — шелест.

Ср.:

W jaśminach — szelest...,

предвещающий в пятой строке появление кошки, стерегущей соловья.

Этот эффект обозначен в оригинале разрывом и дополнительной усиливающей его паузой (графически выраженными тире и многоточием), как бы приостанавливающими, пресекающими гармоническое течение стиха (деформирующими не только метрическую схему, но и снимающими рифму). В переводе на месте многоточия стоит точка, знак «открытости» (вместо «затаенности» оригинала). Ахматову явно тяготят многоточия (их четыре в оригинале, в переводе сохранено лишь одно, в третьей строке), — русская поэтесса верна своей манере обостренного стиха.

Вслед за Павликовской Ахматова связывает и акцентирует рифмой семантическое единство пятой и восьмой (завершающей, ударной) строк:

Кошка серой масти
.....
Даст знак сейчас — где на него напасть мне.

(использование составной, неточной рифмы вновь как бы заостряет смысл).

Ср.:

Kotka czarno-siwa
.....
Da znać za chwilę, gdzie go poszukiwać...

Итак, всего лишь два стихотворения — две русских версии, и каждая из них по-своему интересна и превосходна в поэтическом отношении.

Из поэзии Владислава Броневского Ахматовой избраны для перевода стихотворения, написанные в трагические годы войны, в эмиграции, в Палестине, куда волею судьбы и военного времени был заброшен поэт (они вошли в книгу «Древо отчаяния», Лондон, 1945).

И ранее стихи Броневского несли на себе выразительную печать личности поэта, по справедливому определению Д. Самойлова, его поэзия всегда была поэзией о себе в о в р е м е н и [7] (разрядка моя. — Н. Б.), в ней постоянно бился живой эмоциональный «нерв».

Стихи «Древа отчаяния» в большинстве своем написаны в высоком романтическом стиле, личностное становится здесь «вселенским», а «вселенское» переживается как личностное. Поистине в единый гармонический сплав слились, представляя нерасторжимое целое: патриотическая, любовная, пейзажная лирика, стихи о себе самом, о собственном творчестве. Именно в этот трагический период истории к Броневскому пришла поэтическая зрелость.

В центре «Древа отчаяния» — мир переживаний поэта, при этом доминирует чувство отчаяния от утраты родины, дома, любимой. Сила отчаяния порой доходит до ощущения «физической боли сердца». Горечь, тоска, глухой бунт и одновременно в противовес этим чувствам — стоицизм, огромная сила любви к родине и любимой, вера в Слово, неоставляющая надежда на возрождение.

Лирика Броневского по-прежнему монологична. Но, сохранив обнаженность лирического «я», она стала многозначной. Освободившись от некоторой однотонности, аскетизма прежних стихов, она обогатилась ассоциативными образами и реминисценциями (преимущественно из романтической поэзии и непосредственно из Мицкевича).

Естественно в ней обращение к «вечным» ценностям: природе и человеческой культуре, искусству, созданному человеческим гением (возникают имена Шопена, Шуберта, Моцарта, Мицкевича), этике добра и человечности. Параллель лирического «я» и природы, созвучной его состоянию, лежит в основе всей художественной структуры.

Важным семантическим и конструктивным компонентом цикла является время, которое многозначно (как многозначен и связанный с ним цвет, цвет «зелени», становящийся любимым цветом поэта; символ жизни, надежды, молодости, счастья, символ прошлого, появляясь в настоящем, он «ранит» своей свежестью). Поэзия неподвластна привычным временным измерениям. Здесь, в мире Броневского, пересекаются временные пласты прошлого и настоящего. Прошлое идеализировано. Связанное с воспоминаниями, оно выступает в светлой тональности. С ним контрастирует настоящее — эмиграция, Палестина. Но они не всегда составляют контрастную пару света и мрака, связь между ними порой бывает более сложной.

Стихи, которые перевела Ахматова («Аноним», «Счастье», «Зеленое стихотворение» и др.) — это стихи о себе самом, о любви, о родном крае, о собственной поэзии, стихи-признания, где темы (и связанные с ними образы) не отделимы друг от друга. Своеобразная поэтичность этих стихотворений именно и в тематическом, и в образном взаимопроникновении. Большинство из них (исключение составляет «Мария») «живет» в чисто поэтическом времени, которое сконструировано воображением из прошлого и мечты. И хотя в них доминирует светлая тональность, всегда остается осязаемой грань, за которой «бездна», «отчаянье».

Ахматовские переводы стихотворений Броневского уступают переводам лирики Павликовской-Ясножневской.

В стихотворении-признании «Wagun?» тончайшим образом переплелись любовь, воспоминания прежних лет и вновь ожившее чувство, а вместе с ним сомнения и тревога. И весь этот сложный комплекс переживаний отражен в шумановском «Wagun?» («Почему?»), давшем название стихотворению и являющемся его семантическим ключом и музыкальным фоном. Оно исполнено в очень сдержанной манере, без нарочитой романтизации, и при этом очень лирично.

Уже первую строку Ахматова, применив свой излюбленный прием «разрыва» на два полустишия, сделала в семантическом и в интонационно-синтаксическом отношении более энергичной. А со снятием обращения «милая» исчезла и интонация признания:

Нет больше слов. Ни одного...

В оригинале:

Miła, ja nie mam słów.

Эмоциональная приглушенность нарушается вопросами, которых нет в оригинале:

Откуда ж радость? Отчего
так страшно за нее опять?

В оригинале:

Niw wiem, skąd bierze się znów
ten lęk radości;

излишними анафорическими союзами в 3-м четверостишии (в оригинале их два, у Ахматовой — три, это увеличение создает эмоциональное нагнетание):

И нежность вновь. И моря шум.
И молчаливый лунный свет...
Tkliwość. I morza szum.)
I noc, co milczy...

Неуместна здесь романтизация («трепещет сердце ночь и день, и слезы блещут и кипят» на месте: «serce drży», «lzy zabłysły» во 2-м четверостишии; «молчаливый лунный свет» на месте: «noc, co milczy» в 3-м четверостишии). И в последней, наиболее значительной строфе Ахматова остается верна романтизация:

И нужно ль было столько мук
и столько вспышек грозových...

В оригинале вместо «грозových вспышек» — просто «отчаянье» («gozrasz»), непосредственно (синонимически) связанное с «муками» и являющееся главным (как уже отмечалось) эмоциональным тоном цикла (давнее название ему) — здесь невольно произошло и нарушение контекста.

Наиболее удачными, с нашей точки зрения, оказались в переводе «Зеленое стихотворение» и «Счастье». Хотя в «Зеленом стихотворении» Ахматова утратила в обрамляющем его лейтмотиве:

Ja nie chcę wiele,
ciebie i zieleń

столь важный для семантики всего цикла образ зелени, заменив его образом ветвей, однако в первой строфе она компенсировала эту утрату:

Мало мне нужно на свете:
тебя и ветви,
чтобы в оконной раме
качнулись, зазеленев...

Компенсировала собственным, очень интересным образом, развернутым в картину, где восстановила и «зеленый» цвет и, используя глагол прошедшего времени совершенного вида «качнулись» в соединении с дееспричастием «зазеленев» с тем же значением «сиюминутности» (на месте: «żeby wiatr kołysał gałęzie drzew»), создала эффект захваченности врасплох «зеленью» в самое мгновение ее рождения.

В «Счастье», одном из самых светлых и поэтичных стихотворений цикла, где шутка переплетается со сказкой (сказочные образы не связаны с фольклорной традицией, они вторичны и осложнены литературными ассоциациями), обыгрывается «зеленый» цвет — символ любви и счастья. Перевод Ахматовой исполнен в достаточно свободной по отношению к оригиналу ма-

нере, и, возможно, именно эта «свобода» и делает его очень живым.

Niechaj mi będzie życie
oceanicznym dnem,
gdzie pływają morskie straszysia
o włosach z wodorostów
— zielone! zielone niesamowicie! —
i gdzie wszystko jest snem.

... Пусть я на дне пребуду,
где плавает в молчанье
чешуйчатое чудо
с зелеными глазами,
зелеными до дрожи...
Где все на сон похоже.

В русской версии появляется отсутствующая в оригинале фантастическая метаморфоза: под воздействием сна и магии любви образ любимой становится «чешуйчатым чудом» с «зелеными глазами», сродни «морской царевне» из одноименного стихотворения Лермонтова:

... Вот оглянулся царевич назад:
Ахнул! померк торжествующий взгляд.
Видит, лежит на песке золотом
Чудо морское с зеленым хвостом;
Хвост чешуею змеиной покрыт...

О связи с предшествующими традициями (и, прежде всего, русской поэзии) свидетельствуют и непривычные для Ахматовой аллитерации согласных и созвучия гласных звуков: «чешуйчатое чудо с зелеными глазами» или «пьянит меня, как зелье очей твоих зеленых».

Среди богатых художественными тропами стихотворений выделяется своей «заземленностью» «Мария», где поэзия рождается поистине «из ничего». В отличие от других стихотворений, где «адресат» утаен, хотя и легко угадывается, здесь, в самом заглавии, открыто названо имя жены поэта. Это посвящение самому близкому человеку, непосредственное обращение к нему, с чем связана интимность интонации. Оккупационная польская повседневность воссоздана через Ее жизнь (это едва ли не единственное стихотворение, где реконструированы будни тех лет с их материальными лишениями, бездуховностью, человеческой отчужденностью), хотя сам образ Марии смутен. Внимание поэта сконцентрировано на Ее поведении, действиях (с этим связана «глагольность» стихотворения).

В нем — одно восьмистишие и три четверостишия, строки которых связаны между собой классической перекрестной рифмой. Но внутри, особенно в двух первых строфах, плавное метрическое течение разорвано обрывками диалога (вопросами-ответами), паузами (графически выраженными двоеточиями и многоточиями), чередованием коротких и удлиненных строк, включением вводного предложения (выделенного скобками). Поэт стремится приблизить далекую, «неизвестную» реальность, и это «приближение» столь непосредственно, что невольно создается ощущение его собственного присутствия.

В заключительной строфе «я» поэта, по-прежнему любящего и тоскующего, обнажено. Мучительная неизвестность связана с Ней:

Co ta wojna w tobie zabiła?
Nie ma mnie, nie ma teatru...!
Wołam do ciebie, miła,
wołaniem wiatru.

Последние строки романтизированы, от них тянется нить к прошлому, это непосредственная реминисценция из «Листопадов». Однако образ ветра (хотя есть в нем намек на прошлое) переосмыслен. В «Листопадах» ветер

был спутником одиночества, душевного разлада, творческих мук поэта, здесь это единственный, хотя и иллюзорный, союзник и романтический посланник любви.

В его русской версии исчез своеобразный лиризм, заключенный и в доверительной интонации, и в недоговоренности, умолчании, сдержанности, скрывающей глубину чувства, затаенную тревогу за судьбу любимого человека. Именно эта сдержанность, умолчание — ключ к стихотворению, его доминанта. В переводе все оказалось проясненным, выпрямленным.

Сравните первые строки восьмистишия (переводчица разбила его на два четверостишия) в оригинале:

Siedzisz w kuchni, liczysz kartofle,
przy tobie brat, starszy...

И в переводе:

Картофель делишь бережно и строго,
а ум уже другой заботой занят...

Второй строки нет в оригинале, хотя она как бы присутствует в подтексте. Во фрагменте с гестапо лишним выглядит заключительное полустихие:

...Во всем, что сокровенно,

которого нет в оригинале (это подразумевается, но подлежит умолчанию).

И, наконец, в заключительном четверостишии:

Co ta wojna w tobie zabiła?
Nie ma mnie...

в русской версии — вместо страха перед неизвестностью — эмоциональный всплеск:

Неужто все в тебе война убила?!
Я — далеко...

Ахматова перевела три стихотворения Виславы Шимборской: «Голодный лагерь близ Ясло», «Баллада», «За вином». Все они входят в книгу стихов «Соль» (1962); после ее появления к польской поэтессе пришло подлинное признание.

Остановимся на переводе «Баллады», исполненном Ахматовой, переводе стихотворения, пожалуй, наиболее близкого ей образом героини, изображенной, пользуясь определением В. Жирмунского, в «самый острый момент» переживания, разрыва, и строем, напоминающим ее ранние поэтические новеллы.

Вот фрагменты «Баллады»:

To ballada o zabitej,
która nagle z krzesła wstała.
Ułożona w dobrej wierze,
napisana na papierze.
Przy nie zasłoniętym oknie,
w świetle lampy rzecz się miała.
Każdy, kto chciał, widzieć mógł!
Kiedy się zamknęły drzwi
i zabójca zbiegł ze schodów,
ona wstała tak jak żywi
nagłą ciszą obudzeni.
... Nie unosi się w powietrzu,
ale po zwykłej podłodze,
po skrzypiących deskach stąpa.
Wszystkie po zabójcy ślady
pali w piecu. Aż do szczętu

Вот баллада об убитой,
Что внезапно встала с кресла.
Вот баллада правды ради,
что записана в тетради.
При окне без занавески
и при лампе все случилось,
каждый видеть это мог.
И когда, захлопнув двери,
с лестницы сбежал убийца,
встала, как еще живая,
пробудившись в тишине.
... Не по воздуху летала —
стала медленно ступать
по скрипучим половицам.
А потом следы убийства
в печке жгла она спокойно:

otografii, do imentu
sznurowadła z dna szuflady.
Ona nie jest uduszona.
Ona nie jest zastrzelona.
Niewidoczną śmierć poniosła.
... Ona wstała, jak się wstaje.
Ona chodzi, jak się chodzi.

кипу старых фотографий
и пшурки от бапмаков.
Не задушенная вовсе,
не застреленная даже,
смерть она пережила.
... И она встает и ходит
как встают и ходят все.

«Баллада» весьма своеобразна, она не похожа ни на один из канонических видов европейской баллады. Более того, «Баллада» Шимборской намеренно построена как антитеза классической балладе, как антибаллада. Разрушение балладного канона происходит на всех уровнях: сюжетном, композиционном, строфическом и т. д.

Необычно уже само начало. Если в классической балладе роковая развязка наступает в финале, здесь она становится зачином. Семантический парадокс первых строк становится ключом стихотворения, где развенчиваются балладные приемы и стереотипы, связанные с фантастической атмосферой, ночным мраком, убийством и т. д. У Шимборской, напротив, все подчеркнуто обыденно, все происходит «при свете».

«Баллада» Шимборской лишена симметрии, астрофична: строки то соединяются в двустипшия, то в трех- или четырехстишия, то вдруг неожиданно выделяется одна строка или появляется семистипшие. Да и в метрическом и в ритмико-интонационном отношении баллада сконструирована удивительно свободно: белый стих соседствует с рифмованными строками. В первых шести строках действуют две рифмы (третья — четвертая строки, составляющие двустипшие, объединены смежной рифмой «wierze — rarierge»), рифмой связаны вторая и шестая строки «wstała — miała»). Опоясывающая (точная) рифма используется в восьмой строфе. Рифмой связаны две первые строки следующих строф («uduszona — zastrzelona», «życia — przyczyn»). Женской, неточной рифмой (чье значение вообще ощутимо в дисгармонии баллады) соединены и заключительные строки («włosy — gospa»), которые одновременно «намекают» на свою отдаленную связь с третьей строкой девятой строфы («poniosła»).

Постоянно меняется и интонационное движение: строка то звучит как стих, не только ритмически организованный, но и скрепленный рифмическим «замком», то вдруг меняется интонация, обрывается стиховая гармония, — и фраза начинает звучать неожиданно прозаично:

Ona wstała, rusza głową
i twardymi jak z pierścionka
oczami patrzy po kątach.

И при этом сохраняется верность мелодике стиха, в создании которой участвуют не только рифмующие строки, но и прием синтаксического параллелизма («Ona nie jest...// Ona nie jest...»), соединенный с анафорой, — не только внутрострофический, но и межстрофический («Ona wstała... Ona chodzi...»), ряды повторов («po... podłódze, po... deskach, do szczętu... do imentu...»).

В предисловии к «Избранным стихам» Шимборская отказалась дать свое кредо, однако, оно вырвалось у нее непроизвольно (а, может быть, и не столь непроизвольно?): «...я не могла бы сказать, что такое поэзия и чем она отличается от художественной прозы. Меньшим числом использованных слов, да, это так. Но ведь ни рифма не является ее условием, ни ритм — ее неотъемлемой собственностью, ни очевидный субъективизм — безраздельной привилегией. А веселая мешанина, неловкое осложнение, которое приверженцам традиционного деления пусть сгонит сон с век» [8].

Да, поэтесса как бы нечаянно, но вместе с тем сознательно смешала прозу с поэзией... Свободный строй ее «Баллады» проявился во всем: в сюжетном нарушении канона, в строфической асимметрии, в чередовании рифмованных строк с почти прозаическими, в соединении мелодики стиха с ритмическим разрывом. Однако сознательно отступая от канонического бал-

ладного жанра, Шимборская создает свой тип баллады — не действия а состояния. И эта свобода, «внешняя» неупорядоченность во всем служит отражению «внутренней», душевной дисгармонии. Произведение польской поэтессы существует в двух планах: как антибаллада и как «новая» баллада, баллада психологическая.

Острота, драматизм психологической ситуации создаются посредством контраста внешне спокойного поведения и глубокой, затаенной душевной боли, поэтому такое особое значение обретает здесь подтекст. Интенсивность переживания, скрытая за внешними, изобразительными деталями интерьера (окна, лампы, печи и т. д.), связь с этим внешним миром, «вещами», которые кажутся как будто малозначительными, ненужными, роль, как в театре «настроения», пластики, жеста, «внезапность», водоворотность начала, простота, разговорность интонации, доверительный тон, интонационная прерывистость, ослабление стиховой мелодики — все эти черты, близкие ранней, акмеистской лирике русской поэтессы, несомненно должны были привлечь ее внимание.

Почти адекватный в смысловом отношении, перевод оставляет ощущение подлинно ахматовского создания. Сохранена астрофичность, хотя и в чуть измененном виде: оставлены двух-, трех- и четырехстрочные строфы, но сняты однострочные, изменена строфика самой длинной строфы (сократившейся до шести вместо семи строк за счет отказа от «лесенки»). Снят рифмический «замок» (рифма сохранена лишь во второй строфе: «ради — тетради»). Ахматова отказалась и от концовки, по-видимому, не считая ее значимой. Но при этом сохранен прием повтора (хотя подчас повторы естественно возникают в других местах).

Тяготение Ахматовой к разговорной речи способствовало тому, что в переводе вместо нейтральных появились более живые слова и обороты: «встала, как еще живая», «правды ради», «вовсе», «поглядела», «перепугавшись».

Анализируя «игру» времен в ранней ахматовской поэзии, подчеркивая, что большинство стихотворений поэтессы — это лирические повести о «застывшем миге», В. Виноградов обращает внимание на его двойственность: «При этом сам этот миг застывший одновременно, т. е. в целостной структуре стихотворения, рисуется и как воспроизведенный — в прошлом, и как „остановленный“ в момент его течения. Происходит не „развертывание“ действия, а „наложение“ одного восприятия на другое (с эмоциональным комментарием — обычно) из двух временных аспектов, которые переплетаются» [9].

Именно подобного рода временные наложения, пересечения и использованы в балладе, эта двойственность заставляет рассматривать ее одновременно как повествовательный рассказ о прошлом и как приближенность, точнее «остановленность» этого прошлого, как фиксацию его сиюминутности. Это впечатление достигается варьированием прошедшего (перфектного вида с результативным или чаще моментальным значением и реже несовершенного с нейтральным или модальным значением) и настоящего (с неопределенно-обобщенным, модальным и другими значениями) времен.

Включаясь в свободный строй баллады, эти глагольные смещения снимают «развертывание» действия и придают ей особый драматизм и обостренность.

В переводе при одновременном сохранении смены настоящего и прошедшего времени преобладает тяготение к прошедшему, к варьированию форм совершенного и несовершенного видов, из переплетения, столкновения которых и извлекается драматический эффект.

Итак, наделенная огромным поэтическим талантом Анна Ахматова и в переводах польской поэзии оставила печать своей индивидуальности, печать высокой поэтической культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Польская поэзия XIX—XX вв. в двух томах. Т. 2. М., 1963; Голоса поэтов. Стихи зарубежных поэтов в переводе Ахматовой. М., 1965; *Тувим Ю.* Стихи. М., 1965; *Бронеский В.* Стихи. М., 1968.

2. Богомолова Н. А. Польские и русские поэты XX в. Творческие связи. Аналогии. Художественный перевод. М., 1987, с. 172—189.
3. Flukowski S. Wstęp do: M. Pawlikowska-Jasnorzewska. Wiersze. Warszawa, 1971.
4. Добин Е. Поэзия Анны Ахматовой. Л., 1968, с. 64.
5. Брик О. М. Ритм и синтаксис (Материалы к изучению стихотворной речи).— В кн.: Хрестоматия по теоретическому литературоведению. Тарту, 1976, с. 97.
6. Słownik języka polskiego. T. X. Warszawa, 1968, s. 276.
7. Самойлов Д. Три поэта.— Предисловие к кн.: Ю. Тувим. В. Броневский, К. И. Галчинский. Избранное (пер. с польск.). М., 1975, с. 22.
8. Szymborska W. Od autorki.— Wstęp do: Poezje wybrane. Warszawa, 1967, s. 6.
9. Виноградов В. В. Поэзия Анны Ахматовой. Л., 1925, с. 108.



ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

ГОРЯИНОВ А. Н.

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1917—1927): ИЗ ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ СЛАВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И ОРГАНИЗАЦИИ ЦИКЛА ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН

Систематическую подготовку кадров советских славистов Московский университет начал вести с 1939 г., когда в составе исторического факультета была организована кафедра истории южных и западных славян; в годы Великой Отечественной войны на базе созданного в 1941 г. филологического факультета началась работа по подготовке в МГУ специалистов по славянским языкам и литературам.

К сожалению, однако, до сих пор мы еще очень мало знаем о состоянии славистического образования в Московском университете в предшествующий период. В литературе обычно указывается только, что во второй половине 1920-х годов в 1-м МГУ (так именовался Московский университет в 1918—1930 гг. в отличие от 2-го МГУ, образованного на базе Московских высших женских курсов) существовал цикл (т. е., по принятой тогда терминологии, специализация студентов) по южным и западным славянам, но не сообщается ни подробностей работы этого цикла, ни сведений о славистической подготовке студентов до его организации.

В последний период своей научной деятельности изучением истории славистического образования в МГУ занялся А. Е. Москаленко; однако собранные им материалы не были обработаны и остались неопубликованными¹. Некоторые вопросы истории славистического образования в МГУ затрагивались автором настоящей работы в статье об университетском славистическом образовании в первые годы Советской власти [2].

Ниже сделана попытка суммировать рассеянные в различных неопубликованных и печатных источниках² сведения о славяноведении в МГУ за первое десятилетие Советской власти. Изложение материала доведено до начала 1927/1928 учебного года, когда на этнологическом факультете университета начал практическую деятельность цикл южных и западных славян³.

Великая Октябрьская социалистическая революция первоначально мало сказалась на преподавании в университете славистических дисциплин

Горяинов Андрей Николаевич — канд. ист. наук, ст. научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ Частично они отражены в составленном А. Е. Москаленко совместно с Х. Х. Хайретдиновым проспекте [1].

² Наибольший интерес среди них представляют протоколы заседаний историко-филологического факультета, факультета общественных наук, этнологического факультета МГУ и их отделений, сохранившиеся в архиве МГУ и в Центральном государственном архиве литературы и искусства [3; 4, ф. 483 (Б. М. и Ю. М. Соколовы); ф. 2231 (А. М. Селищев)].

³ Деятельности цикла посвящена отдельная статья [5].

и на подготовке научных кадров в области славяноведения. Они по-прежнему осуществлялись в рамках историко-филологического факультета (после передачи из него вновь образованному факультету общественных наук исторического отделения он стал преимущественно филологическим [3, оп. 1, д. 15, л. 43—44]) и имели по существу филологическую направленность. Правда, в феврале и апреле 1918 г. В. И. Пичета защитил на факультете в качестве магистерской и докторской диссертаций первый и второй тома монографии «Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве» [3, оп. 1, д. 8, л. 1—4, 13, 13об., 20, 22], а в 1918/1919 учебном году студенты факультета, судя по прошению Н. Е. Катаева [3, оп. 1, д. 8, л. 55], слушали курс истории западных славян; однако затем до второй половины 1920-х годов ничего подобного в известных нам документах не упоминается. В то же время есть довольно много свидетельств о деятельности сначала кафедры, а с осени 1919 г. — отделения славянской филологии (последнее было создано в составе кафедр славянских языков и славянских литератур) и историко-филологического факультета в целом по организации преподавания славянских языков и литературы. На факультете читался общий курс «Введение в славяноведение» и курс П. А. Расторгуева по сравнительной грамматике славянских языков [3, оп. 1, д. 8, л. 55; д. 15, л. 2,7]; утверждались новые программы преподавания славистических дисциплин [3, оп. 1, д. 13, л. 47об., д. 11, л. 21]; весной 1918 г. были объявлены темы медальных студенческих сочинений, среди которых одна, предназначенная для студентов кафедры славянской филологии, была посвящена поэтическому творчеству А. Мицкевича [3, оп. 1, д. 8, л. 27]. По предложению работавшего в то время на факультете В. К. Поржезинского⁴, историко-филологический факультет обратился в ректорат с ходатайством об учреждении для осуществления новых программ преподавания должностей лекторов (преподавателей) польского, сербского, чешского и болгарского языков [3, оп. 1, д. 13, л. 116]. Видимо, просимые должности введены не были; тем не менее, в действовавшем на 1920/1921 учебный год учебном плане фигурировало два обязательных для изучения каждым студентом отделения славянской филологии славянских языка [3, оп. 1, д. 19, л. 74 2-й пагинации]; кроме того, студентам читался курс польской литературы [3, оп. 1, д. 16, л. 97].

Славянские языки на историко-филологическом факультете преподавали профессоры, чьи имена вошли в историю славистики. До начала марта 1920 г. работу в области славянской филологии на факультете возглавлял языковед Р. Ф. Брандт, однако сведений о читавшихся им после Октябрьской революции курсах не сохранилось. Вероятно, основную нагрузку по преподаванию славистических дисциплин до кончины Брандта (2 марта 1920 г.) нес В. Н. Щепкин. Он стал преемником Брандта, но ненадолго: о безвременной смерти его 2 декабря 1920 г. было объявлено на заседании факультета 7 декабря [3, оп. 1, д. 18, л. 71]. Судя по решению об организации преподавания по кафедре славянской филологии, принятому факультетом 14 декабря 1920 г., Щепкин вел курсы старославянского, сербского и польского языков и польской литературы [3, оп. 1, д. 18, л. 97].

Р. Ф. Брандт и В. Н. Щепкин много сделали для подготовки на факультете научных кадров. Брандт возглавлял, например, прием магистерских экзаменов по славяноведению у известного в будущем фольклориста Б. М. Соколова [3, оп. 1, д. 8, л. 10]. Он же вместе со Щепкиным экзаменовал западнорусского публициста Д. Н. Вергуна, тогда жившего в Советской России и решившего стать приват-доцентом Московского университета [3, оп. 1, д. 8, л. 11об., 21, 45, 45об., 49, 53об.]. По предложению Брандта по кафедре славянской филологии для подготовки к профессорскому званию были оставлены в 1918—1919 гг. С. О. Макаровский и А. И. Павлович (последний стал позже известным филологом). Магистерские испыта-

⁴ О В. К. Поржезинском и подавляющем большинстве других ученых, упоминаемых ниже, см. [6]. Сведения о работавших в 1920-е годы славистах-лингвистах содержатся также в [7].

ния, в 1920 г. по распоряжению Наркомпроса называвшиеся отчетами о научной деятельности, требовали в этот период серьезной подготовки. Об этом свидетельствует, например, список литературы для отчета об изучении древнеславянского и болгарского языков, составленный В. Н. Щепкиным для А. Полуносова-Ярусова. По свидетельству последнего, «отчет должен был состоять в разборе текстов с фонетической и морфологической стороны» [3, оп. 1, д. 19, л. 34, 35 2-й пагинации] (для разбора были намечены тексты из Супрасльской рукописи в издании С. Северьянова [8], «Троянская притча», изданная Ф. Миклошичем [9], отрывки из романа И. Вазова «Под игмом»), причем для подготовки к экзамену Щепкин рекомендовал ряд своих работ, грамматики старославянского и древнеболгарского языка А. Лескина [10], первую часть «Лекций по славянскому языкознанию» Т. Д. Флоринского [11], вышедшую на болгарском языке работу Б. Цонева «Тысячелетие болгарского языка» [12], тексты из «Хрестоматии по древнецерковнославянскому и русскому языкам» Н. М. Каринского [13].

После смерти Р. Ф. Брандта и В. Н. Щепкина отделение славянской филологии (превратившееся опять в кафедру) не осталось без преподавательских кадров только потому, что на других отделениях историко-филологического факультета работали крупные специалисты в области славянских языков и литератур. Чтение славистических курсов взяли на себя профессор кафедры сравнительного языкознания В. К. Поржезинский, один из профессоров отделения русского языка и словесности М. Н. Сперанский, преподаватели белорусского языка и литературы П. А. Расторгуев и Н. А. Янчук [3, оп. 1, д. 18, л. 97, 103об., 82-й пагинации]. Они довели эти курсы до конца учебного года, когда на основании декрета Совнаркома РСФСР от 4 марта 1921 г. «О плане организации факультетов общественных наук российских университетов» [14, 1921, № 19, ст. 117] историко-филологический факультет 1-го МГУ был упразднен. На основе филологических отделений факультета были созданы литературно-художественное и этнолого-лингвистическое отделения факультета общественных наук; славянская филология при этом передавалась в ведение этнолого-лингвистического отделения.

Подготовка на одном факультете специалистов по всем гуманитарным дисциплинам была одним из первых практических шагов в осуществлении общероссийского плана реорганизации народного образования⁵, основной целью которого было добиться быстрее подготовки марксистски образованных преподавательских кадров для высшей школы, с одной стороны, и работников массовых профессий — с другой. В соответствии с ним Государственный ученый совет (ГУС) при Наркомпросе РСФСР начал проводить курс на разделение научной и преподавательской работы: в 1-м МГУ были, в частности, наряду с факультетами созданы институты, которые должны были заниматься исследовательской деятельностью и подготовкой научных кадров. В их числе начал функционировать Институт языковедения и истории литературы с секцией славянских языков [16].

Перед факультетом общественных наук в целом и всеми его отделениями была поставлена задача подготовки учителей, музейных работников, библиотекарей и кадров других массовых профессий. В соответствии с этим этнолого-лингвистическое отделение должно было иметь «практическую цель — подготовку преподавателей по литературе и языкам» [17]. Ей соответствовала структура отделения, состоявшего из двух секций — русского языка и литературы и романской филологии. Первоначально предполагалось также создать на отделении секцию славянских языков для подготовки учителей белорусского, украинского и польского языков национальных школ, но уже в середине июля 1921 г. профессор секции русского языка и литературы Д. Н. Ушаков отчетливо понимал, что в ближайшее время эта секция не будет открыта [4, ф. 2231, оп. 1, д. 125, л. 1]; однако план ее создания не был окончательно снят — о возможности в будущем

⁵ Подробнее об этом плане см., например, [15, с. 14—20].

развернуть преподавание «славянских наречий» и некоторых других предметов заявлялось в печати [17].

Видимо, не последнюю роль в откладывании открытия секции славянских языков сыграл обострившийся недостаток преподавателей славистических дисциплин. 17 мая 1921 г. заявил об уходе из университета в связи с отъездом в Польшу В. К. Поржезинский [3, оп. 1, д. 19, л. 23]; в сентябре в качестве профессора не был утвержден М. Н. Сперанский, 5 декабря скончался Н. А. Янчук [3, оп. 1, д. 24а, л. 6]. В Москве заменить их было некому. Между тем необходимо было иметь соответствующих преподавателей хотя бы для чтения на секции русского языка и литературы предметов, подлежащих обязательной сдаче при переводе с курса на курс⁶.

В этих условиях было решено привлечь к преподаванию одного из иногородних славистов. Выбор пал на А. М. Селищева, работавшего в то время в Казани. В письме от 14 июня 1921 г. Д. Н. Ушаков, сообщив ему об этом, спрашивал, согласен ли он на назначение «1) членом открывающегося в Москве Научного института языкознания (по секции славянских языков) и 2) профессором этнолого-лингвистического отделения фак[уль]тета обществ[енных] наук». Селищев приглашался «для преподавания славистических предметов (введения в славяноведение, старо-слав[янского] языка, сравнит[ельной] грамматики слав[янских] языков) на секции русского языка и словесности». «Насколько мне известно, — заключал письмо Ушаков, — большинство московских языковедов разделяет мое желание видеть Вас в Московском университете» [4, ф. 2231, оп. 1, д. 125, л. 1].

В начале октября 1921 г. Селищев был утвержден профессором 1-го МГУ [3, оп. 1-л., д. 236, л. 1]. Однако переезд ученого в Москву затянулся. Лишь в конце ноября или начале декабря, и то из частного письма Д. Н. Ушакова, ему стало известно о назначении профессором Московского университета и членом научного института при нем. «В науч[ном] ин[ститу]те мы отложили до Вашего прибытия, как хозяина секции славистики, намерение кандидатов на свободные места: 1 члена, 1 ассистента и не знаю скольких младш[их] сотрудников» — писал Ушаков. Возможными кандидатами на эти должности в письме назывались Н. Н. Дурново и П. П. Свешников. Ушаков рекомендовал Селищеву «поскорее вступить в сношения с ун[иверсите]том и ин[ститу]том» и называл адреса их руководителей [4, ф. 2231, оп. 1, д. 125, л. 2].

Получив официальное сообщение о назначении, А. М. Селищев уведомил этнолого-лингвистическое отделение о намерении переехать в Москву в первой половине января 1922 г. [3, оп. 1, д. 24а, л. 25об.]. Однако по причинам материального характера [3, оп. 1, д. 24, л. 6] это, видимо, удалось сделать лишь в феврале или начале марта. Первое заседание этнолого-лингвистического отделения, на котором присутствовал Селищев, состоялось 7 марта 1922 г. [3, оп. 1, д. 24, л. 10].

С приездом Селищева в Москве связывали большие надежды на возрождение университетской славистики; они были выражены на заседаниях этнолого-лингвистического отделения 20 декабря 1921 г. и Института языковедения и истории литературы 26 декабря 1921 г. Сообщив 20 декабря отделению о скором прибытии А. М. Селищева, председательствующий заявил о предстоящем в связи с этим осуществлении курсов по славяноведению, а П. А. Расторгуев высказал пожелание, чтобы в будущем «был поставлен вопрос о самом положении преподавания его (славяноведения. — А. Г.) на этнолого-лингвистическом отделении» [3, оп. 1, д. 24а, л. 25об., 26]. В свою очередь, сообщая Селищеву об итогах заседания института, его директор А. А. Грушка писал: «Как на меня, так и на членов института все то, что Вы пишете, произвело наилучшее впечатление, и мне очень приятно сообщить Вам, что все мы глубоко уверены в том, что в Вашем лице мы приобретаем не только достойного научного сотрудника, но и доброго товарища нашей коллегии» [4, ф. 2231, оп. 1, д. 87, л. 1].

Ожидания, связывавшиеся с А. М. Селищевым, начали оправдываться буквально с первых дней его жизни в Москве. Уже на заседании 7 мар-

⁶ Перечень их см. [18].

та он выступил с докладом о постановке на отделении преподавания славянской филологии и высказал ряд предложений о чтении конкретных курсов. На первых порах Селищеву было поручено вести предметы, о которых писал ему Д. Н. Ушаков, а также факультативный курс болгарского языка [3, оп. 1, д. 24, л. 10]. Спустя два месяца он начал читать также курсы славянской этнографии и истории славянских литератур (последний заменил курс польской литературы, читавшийся П. А. Расторгуевым) [3, оп. 1, д. 24, л. 17]. Одновременно Селищев работал над учебником «Введение в изучение славянских языков», задуманным как переработка учебного пособия [19]. 24 апреля 1923 г. предложение его по этому вопросу было рассмотрено на заседании этнолого-лингвистического отделения, постановившего просить председательствующего «заявить в редакционный сектор Госиздата о настоятельной необходимости переиздания этой книги, ввиду большого спроса на нее в 1-м издании и крайней трудности для студентов доставать пособия по славянским языкам» [3, оп. 1, д. 26, л. 18об.]. Книга в то время, однако, не была издана. Впоследствии из нее вырос трехтомник «Славянское языкознание», первая часть которого увидела свет в 1941 г.⁷

Оживление славистической деятельности на этнолого-лингвистическом отделении стало оказывать определенное воздействие на другие отделения. 7 октября 1922 г. на заседании археологического отделения было решено ходатайствовать о зачислении в университет на преподавательскую должность слависта Н. Л. Туницкого, которому предполагалось поручить курсы славянских древностей, источниковедения истории Балкан и истории Византии [3, оп. 1, д. 27, л. 4—7], однако кандидатура Туницкого была отклонена вышестоящими инстанциями [3, оп. 1, д. 28, л. 2]. 26 октября отделение постановило просить, чтобы курс истории русского языка археологом читал «специалист не только в русском, но и в других славянских языках» П. А. Расторгуев, поскольку «принимая во внимание происхождение и историю древне-русской письменности и ее тесную связь с юго-славянской и отчасти западно-славянской необходимо в курсе затронуть и эти группы языков» [3, оп. 1, д. 27, л. 8]. В сентябре 1923 г. археологическим отделением было одобрено предложение Н. Д. Протасова о чтении курса «Археология славянских стран» [3, оп. 1, д. 28, л. 13, 13об., 24, 25]. Новые подходы к освещению польской проблематики попытался наметить С. М. Дубровский, заявивший в мае 1923 г. о намерении прочесть на общественно-педагогическом отделении курс «Экономическая история Польши эпохи разделов» [3, оп. 1, д. 37, л. 2].

С первых шагов своей деятельности в Московском университете А. М. Селищев вел дело к созданию там особой славистической специализации. Видимо, впервые он добился серьезного обсуждения этого вопроса в мае 1923 г. в связи с подготовкой на факультете общественных наук реформы, предусматривавшей ликвидацию литературно-художественного отделения и объединения его литературных специализаций с этнолого-лингвистическим отделением в отделение литературы и языкознания [3, оп. 1, д. 26, л. 20]. При уточнении структуры будущего отделения было предложено ввести специализацию по славистике, но после обсуждения этого предложения его осуществление было «признано нежелательным» [3, оп. 1, д. 31, л. 3]. В учебном плане нового отделения сохранялись, хотя и с некоторыми модификациями (другое количество часов, иное соотношение лекций и практических занятий) те же, что и на этнолого-лингвистическом отделении, славистические предметы — введение в славянскую филологию (раньше курс назывался «Введение в славяноведение»), старославянский язык, один из новых славянских языков, сравнительная грамматика славянских языков, славянская этнография, славянские литера-

⁷ По свидетельству С. Б. Бернштейна [20, с. 25] неудачная попытка опубликования «Введения» была сделана в Чехословакии и Болгарии; из письма Е. Ф. Карского к Селищеву от 12 ноября 1928 г. [4, ф. 2231, оп. 1, д. 96, л. 7] видно также, что Карский обещал подумать об издании книги Селищева в качестве одного из выпусков «Энциклопедии славянской филологии».

туры). Эти предметы преподавались студентам «славяно-русской секции», рассчитанной, прежде всего, на подготовку специалистов по русскому языку и русской литературе [3, оп. 1, д. 26, л. 26].

В 1925 г. преподавание общественных наук в университетах подверглось очередной реорганизации, вызванной необходимостью исправления допущенных ранее ошибок. Не оправдала себя, прежде всего, ориентация университетов на подготовку кадров массовых профессий. Народному хозяйству и идеологической сфере требовалось все больше специалистов, хорошо подготовленных в теоретическом отношении [15, с. 26; 21]. В этих условиях 28 июля 1925 г. Совнарком РСФСР принял декрет «О преобразовании факультета общественных наук Первого Московского государственного университета в факультеты советского права и этнологический» [14, 1925, № 28, ст. 353]. Годом раньше, в июле 1924 г., из МГУ, в числе других институтов, был выделен Институт языковедения и истории литературы, где подготовка научных кадров продолжалась сначала в сложившихся ранее формах, а с 1925 г. — в рамках аспирантуры [15, с. 96; 22].

Этнологический факультет ставил перед собой задачу обеспечить выпуск «высококвалифицированных работников, подготовленных на основе исторического материализма и марксистской методологии в области истории, археологии, этнографии, литературоведения и искусствознания, которые прежде всего могли бы заниматься теоретической разработкой указанных научных областей и давать основной кадр работников для научно-исследовательских институтов общественных наук». Он состоял из четырех отделений — историко-археологического, этнографического, литературы, изобразительных искусств [3, оп. 1, д. 95, л. 12—20]. На факультете в числе других была создана кафедра славянской филологии, которую возглавил А. М. Селищев [3, оп. 1-л, д. 236, л. 6].

Деятельность кафедры сосредотачивалась главным образом на восточнославянском цикле этнографического отделения, где Селищев читал курс «Введение в сравнительное изучение славянских языков» и лекции по славянской этнографии [3, оп. 1, д. 55, л. 28—30]. Им объявлены были также темы дипломных работ по славяноведению для студентов-лингвистов [3, оп. 1, д. 55, л. 25, 26]. В учебном плане отделения значились, кроме того, занятия по славянским языкам и славянским древностям, семинар по славянской этнографии [3, оп. 1, д. 43, л. 4—6]. На литературном отделении в качестве факультативных были объявлены курсы «Введение в славяноведение» и «История славянских литератур» [3, оп. 1, д. 56, л. 11, 12]. Первый шаг в области подготовки специалистов по истории славян был сделан также на историко-археологическом отделении, где студентка В. А. Лиссовская писала дипломную работу «Аграрный кризис в Польше в 1863 г.» [3, оп. 1, д. 55, л. 27].

В целом с созданием этнологического факультета положение в области преподавания славистических дисциплин в 1-м МГУ почти не изменилось. А. М. Селищев не мог примириться с таким положением. К июлю 1926 г. относится «Проект учреждения Института славяноведения», сохранившийся в архиве Б. М. и Ю. М. Соколовых [4, ф. 483, оп. 1, д. 480, л. 13—16]. Проект не подписан, но по содержанию и стилю, он сходен с другими, более поздними документами, автором которых является Селищев.

Проект начинается с развернутой мотивировки необходимости создания института. Предвидя, что «в близком будущем предстоит несомненно расширение дипломатических, экономических и прочих отношений со славянскими странами» и отмечая условия, делающие возможным расширение воздействия политики и культуры Советского государства на эти страны, — наличие там украинского и белорусского населения, близость языков и исторических традиций различных славянских народов Европы и СССР, — автор документа отмечает вместе с тем отсутствие в Советском Союзе кадров, «подготовленных к обслуживанию этих отношений» и уже наметившиеся отрицательные последствия такой ситуации. Причину невнимания к изучению славянских народов он видит в том, что «реакция против царистского панславизма вызвала и психологическую

реакцию против славяноведения вообще». Из сравнения положения с изучением славянских стран в СССР и «великих державах Запада» в документе делается вывод не только о том, что существующие в университетах славистические ячейки не в состоянии подготовить достаточного количества специалистов, но и что их задачи «не совпадают полностью с выше охарактеризованными практическими задачами». В связи с этим предлагалось организовать специальный институт, действующий «при поддержке и под контролем НКВД, Внешторгбанка и Наркомпроса» и объединяющий подготовку кадров специалистов по славянским странам и исследование этих стран.

Учебная и научная программа института была сформулирована в документе весьма широко. Предусматривалось не только готовить кадры по Польше, Чехословакии, Югославии и Болгарии, но и по Украине и Белоруссии, причем это изучение должно было включать овладение языками соответствующих народов, основательное знакомство с их географией (прежде всего экономической), социальными и национальными отношениями, политической жизнью, законодательством, этнографией, историей и историей культуры (причем «особое внимание должно быть обращено, с одной стороны, на социальную историю, с другой стороны, на историю отношений данной страны с Россией»). Институт должен был также готовить и издавать научные монографии и популярные работы, посвященные славянским народам, исторические документы и другие материалы. Выдвигалось также предложение о создании специального славистического журнала.

Нам не известно, в какие инстанции и по каким каналам был направлен проект создания Института славяноведения, но он, несомненно, оказал воздействие на последующие события, которые прослеживаются по документам с осени 1926 г.⁸ Как свидетельствует один из отчетов этнологического факультета, «первый импульс к организации отделения славяноведения вышел из Народного комиссариата иностранных дел, почувствовавшего потребность в кадре подготовленных в области славяноведения и знающих славянские языки сотрудников» [3, оп. 1, д. 100, л. 21—28]. Не исключено, что определенную роль в этом деле сыграли лингвист Р. О. Якобсон, работавший в то время в постпредстве СССР в Чехословакии, и представитель СССР в Чехословакии В. А. Антонов-Овсеенко. На такое предположение наводит запись в дневнике Ю. М. Соколова от 18 февраля 1927 г.: «Получил письмо Р. О. Якобсона о взглядах полпреда Антонова-Овсеенко⁹ на образование славянского цикла в Унив[ерситете]. Я это письмо передам Волгину и П. Ф. Преображенскому¹⁰. М[ожет] б[ыть] пригодится» [4, ф. 483, оп. 1, д. 130, л. 20].

Окончательное решение о необходимости усиления преподавания славистических дисциплин было принято общественно-политической секцией ГУС и Главным управлением профессионально-технического образования, в ведении которого находился университет. Вместо создания славистического института предусматривалась лишь организация на новом уровне изучения славянских языков, этнографии и истории славян в рамках этнологического факультета 1-го МГУ [3, оп. 1, д. 56, л. 15], но и это было большим достижением: открывалась возможность создания специальной славистической ячейки.

Вначале новая организационная единица планировалась как самостоятельное отделение, состоящее из этнологического-лингвистического, общественно-исторического и литературоведческого циклов; затем решено было ограничиться на первое время созданием в составе этнографического отдела-

⁸ В [16] со ссылкой на печатные источники утверждается, что специальность «Славяноведение» была введена на этнологическом факультете в сентябре 1926 г. Однако, судя по протоколам заседаний этнографического отделения, практически организация новой специализации началась в октябре, а открыта была с 1927/1928 учебного года.

⁹ В действительности В. А. Антонов-Овсеенко не имел этого официального звания, поскольку отношения СССР с Чехословакией были установлены только в 1934 г.

¹⁰ В. П. Волгин был в это время деканом этнологического факультета; историк и этнограф П. Ф. Преображенский возглавлял этнографическое отделение.

ния цикла южных и западных славян. Объясняя мотивы такого решения, А. М. Селищев отмечал впоследствии, что «деканат не располагал в 1926 г. определенными реальными данными, которые позволяли бы обеспечить должным образом преподавание предметов славяноведения» [4, ф. 483, оп. 1, д. 418, л. 4] и что, как было указано Селищеву, прежде чем открывать другие отраслевые циклы, «следует осуществить сперва план первого цикла — этнолого-лингвистического,] подготовить лиц, хорошо осведомленных в славянских языках и в современном состоянии славянских народов» [3, оп. 1-л, д. 104, л. 9, 10]. Таким образом, сыграли свою роль как сложности организационного и материального характера (трудности подбора кадров, отсутствие славистической литературы), так и связанные с одновременной подготовкой славистов нескольких специальностей.

С. Б. Бернштейн написал интересную книгу о своем учителе А. М. Селищеве. Основываясь на личных воспоминаниях, он, в частности, замечает, что «цикл западных и южных славян носил подчеркнуто лингвистический характер» [20, с. 22]. Неточность этого утверждения, устранившего автором в № 1 журнала «Советское славяноведение» за 1989 год, станет еще более заметной при анализе хода обсуждения вопросов организации славистической специализации на этнологическом факультете и выработки его учебного плана. Для обсуждения этих вопросов была создана решением этнографического отделения от 18 октября 1926 г. специальная комиссия, куда вошли ученые разных специальностей: славист А. М. Селищев, специалист по русскому языку Д. Н. Ушаков, этнограф А. Н. Максимов, фольклорист Ю. М. Соколов, литературовед А. С. Орлов, историк М. К. Любавский. На завершающем этапе в работе комиссии приняли также участие языковед М. Н. Петерсон, профессор факультета советского права М. И. Исаев и представитель Народного комиссариата иностранных дел И. М. Ашбель. В первом и последнем заседаниях комиссии участвовал П. Ф. Преображенский [3, оп. 1, д. 40, л. 9, д. 56, л. 158, 159, 159об., д. 57, л. 4].

Уже на первом заседании комиссии 8 ноября 1926 г. [3, оп. 1, д. 56, л. 158] было решено осуществлять подготовку славистов в рамках цикла. Первоначально комиссия предложила использовать для этих целей существовавший уже восточнославянский цикл; однако на заседании деканата этнологического факультета, рассмотревшем 12 ноября 1926 г. первые итоги работы комиссии, это решение было изменено таким образом, чтобы, сохранив самостоятельный восточнославянский цикл, учредить параллельный с ним цикл южных и западных славян. Одновременно деканат отметил, что «с учреждением нового цикла... задача преподавания славяноведения будет выполнена только частично» [3, оп. 1, д. 56, л. 156об.] и поставил на очередь вопрос об учреждении в ближайшем будущем самостоятельного отделения славяноведения; было также решено возбудить ходатайство об организации при этнологическом факультете кабинета по славяноведению, который рассматривался в качестве базы для создания будущего славистического научно-исследовательского института.

Как видно из сохранившегося чернового наброска одного из выступлений А. М. Селищева [4, ф. 2231, оп. 1, д. 39, л. 28], в ходе обсуждения в комиссии и деканате учебного плана цикла южных и западных славян он считал, что хотя начинать надо с подготовки студентов преимущественно в области лингвистики, работа цикла отнюдь не должна замыкаться на изучении лингвистических дисциплин. Более того, он был готов немедленно обеспечить в рамках цикла подготовку славистов ряда специальностей.

Комиссия поддержала основные предложения Селищева, но внесла в первоначальный проект учебного плана цикла ряд изменений, расширяющих его тематику. Предусматривалось, в частности, сохранение преподававшихся ранее на этнографическом отделении славистических дисциплин филологического характера и, кроме того, обязательное изучение каждым студентом цикла трех славянских языков. Вместе с тем вводилось чтение ряда исторических курсов (история южных и западных славян, византиноведение и др.) [3, оп. 1, д. 56, л. 159, 159об.]. Деканат с неболь-

шими поправками утвердил разработанный комиссией проект учебного плана, отметив, по предложению комиссии, желательность расширения преподавания истории и литератур славянских народов на других отделениях факультета [3, оп. 1, д. 56, л. 159об.].

Материалы по организации цикла южных и западных славян были представлены в Главпрофобр, который, утвердив их, внес новые поправки [3, оп. 1, д. 56, л. 163, 164]. 14 декабря 1926 г. подсекция высших учебных заведений Научно-политической секции ГУС рассмотрела доклад декана этнологического факультета В. П. Волгина об учебном плане цикла и высказала новые пожелания, сводящиеся к требованию дальнейшей доработки учебного плана в целях более тесной связи с практикой политической жизни и организации изучения современного экономического и политического положения славянских стран. Вместе с тем отмечалось в качестве недостатка преобладание в программе цикла предметов, ориентированных на изучение древностей, т. е. истории [3, оп. 1, д. 57, л. 4]. 7 января 1927 г. вновь пришлось собрать комиссию этнографического отделения по организации цикла южных и западных славян [3, оп. 1, д. 56, л. 192об., д. 57, л. 4]. На заседании, где рассматривались замечания ГУС, разгорелась жаркая дискуссия; в ее ходе было высказано много предложений по дополнению учебного плана цикла дисциплинами как общественно-политического, так и исторического характера (история Австрии и Турции, национальный вопрос в славянских странах и др.). Выступавшие подчеркивали необходимость сделать программу цикла «менее отвлеченной», уменьшить в ней удельный вес лингвистических дисциплин, обратить внимание на изучение необходимых международникам-практикам юридических предметов. Представитель юридического факультета М. И. Исаев отметил «чрезвычайно важное значение организации славистической ячейки в 1-м МГУ, в которой заинтересован не только этнологический факультет, но, например, и факультет советского права» [3, оп. 1, д. 57, л. 4].

Против коренного изменения характера разработанной программы выступили Д. Н. Ушаков и М. К. Любавский. Последний отметил, в частности, несостоятельность мнения ГУС о преобладании в программе интереса к древностям, поскольку «курсы по истории славян не предполагалось ограничивать лишь старыми эпохами». Отвечая оппонентам, А. М. Селищев не согласился с упреками в отвлеченности программы и ее чрезмерном крене в сторону лингвистики. Он твердо стоял на точке зрения, что «знание славянских языков — самая необходимая предпосылка для изучения славянства», но вместе с тем не возражал против осуществления подавляющего большинства исторических и общественно-политических курсов и сокращения курсов по русскому языку.

Было решено изменить некоторые пункты отвергнутого ГУС учебного плана, сохранив, однако, его основные позиции [3, оп. 1, д. 57, л. 83]. На последующих этапах подготовки плана в него вносились новые изменения и после окончательного утверждения ГУС он приобрел вид, зафиксированный в протоколе заседания этнографического отделения от 22 апреля 1927 г. Отделение отметило необходимость кроме приема на I (общеобразовательный) курс цикла открытия в 1927/1928 учебном году славистической специализации сразу на II и III курсах. Было утверждено распределение между преподавателями курсов, намеченных на новый учебный год. Согласно протоколу, А. М. Селищев должен был читать курс «Введение в славяноведение», вести лекционные и практические занятия по старославянскому языку (II курс), руководить спецсеминаром по славяноведению и вести практические занятия по изучению одного из славянских языков на III курсе. Историю русского языка на III курсе должен был читать Д. Н. Ушаков, С. Д. Сказкину предполагалось поручить чтение на III курсе лекций по новой и новейшей истории Австро-Венгрии, В. Н. Дурденевскому — чтение на II курсе лекционного курса «Государственное устройство славянских стран». Студенты III курса обязаны были также прослушать курс истории России до XIX в., который читал на восточнославянском цикле М. К. Любавский. Вакантными оставались

предметы «История славянских литератур» и «Экономическая география славянских стран» на III курсе, а также практические занятия по трем славянским языкам на II и III курсах. Для этих курсов и практикумов, а также для обеспечения с 1928/1929 учебного года занятий на IV курсе (здесь, по свидетельству А. М. Селищева, предполагалось вести занятия по сравнительной грамматике славянских языков, славянским древностям, литературам и этнографии, продолжат практические занятия по славянским языкам), отделение сочло необходимым введение в штат должностей профессора, доцента и лекторов по славянским языкам. Было также постановлено просить деканат об открытии кабинета славяноведения и утверждении его заведующим А. М. Селищева¹¹.

Оценивая в июне 1927 г. «составленный и утвержденный план преподавания по циклу южных и западных славян», А. М. Селищев подчеркивал, что «основное значение в этом плане принадлежит лингвистическим изучениям... Но кроме изучения славянских языков, студенты получают знания в отношении быта, культуры и государственного строя южных и западных славян» [3, оп. 1-л, д. 104, л. 9, 10]. Таким образом, Селищев ясно видел, что учебный план способен служить целям подготовки не только узких специалистов-лингвистов, но и славистов, способных заниматься комплексом проблем славяноведения.

Осуществление вновь разработанного учебного плана цикла южных и западных славян и качество подготовки его студентов во многом должны были зависеть от квалификации преподавательских кадров. Подбору их А. М. Селищев уделил самое пристальное внимание. Все называвшиеся выше преподаватели, привлеченные к работе на цикле, были крупными специалистами в своих областях и впоследствии стали обладателями высших академических и почетных научных званий. Однако одни эти ученые не могли обеспечить успешной работы цикла, так как за исключением Любавского никогда углубленно не занимались славистической проблематикой.

Для чтения курсов и ведения семинарских занятий по предметам славяноведения А. М. Селищеву был необходим квалифицированный славист, способный преподавать различные дисциплины славистического комплекса. Этим требованиям, по мнению Селищева, в полной мере отвечал Г. А. Ильинский, у которого, по свидетельству В. В. Колесова, «хорошая филологическая подготовка соединялась... с современными лингвистическими взглядами и с широким интересом к культурной жизни славянства» [6, с. 167]. Кандидатура Ильинского, работавшего в это время в Казани, была представлена в деканат А. М. Селищевым совместно с Д. Н. Ушаковым [3, оп. 1, д. 58, л. 7], но ее утверждение сопровождалось значительными сложностями.

На заседании деканата, рассматривавшего представление, против приглашения Ильинского выступил секретарь этнографического отделения Ю. М. Соколов. «Я повздорил с Аф[анасием] Матв[еевичем] Селищевым из-за кандидатур новых преподавателей на слав[янский] цикл. Он предлагает Г. А. Ильинского и со всей яростью (грубой, неврастеничной) набросился на кандидатуры, предложенные мною, Якобсона и Богатырева... Я очень решительно возражал», — записал Соколов вскоре после заседания [4, ф. 483, оп. 1, д. 423, л. 5].

Соколов мотивировал свои возражения против представленной Селищевым кандидатуры двумя соображениями: во-первых, тем, что приглашение для преподавания на цикле второго славяноведа с лингвистическими интересами «при наличии уже одного профессора-лингвиста может повести к чрезмерному усилению чисто лингвистических интересов в ущерб интересам историко-культурным и этнографическим...»; во-вторых, возможностью приглашения В. П. Волгиным, выезжающим в заграничную командировку, зарубежных славистов для работы в 1-ом МГУ [3, оп. 1, д. 58, л. 7] (последнее было в условиях 1920-х годов совершенно необычным, но, видимо, принципиально согласовывалось с вышестоящими ор-

¹¹ Конкретные предложения А. М. Селищева по организации кабинета отражены в составленной им смете на приобретение пособий для кабинета славяноведения и в его краткой объяснительной записке к этой смете [3, оп. 1, д. 90, л. 26, 27].

ганами, поскольку в качестве преподавателя сербского языка деканатом этнологического факультета был утвержден преподаватель Славянского института в Париже Янич, который, однако, в Москву не приехал) [3, оп. 1, д. 57, л. 98, 99]. В действительности Ю. М. Соколову, как явствует из уже цитировавшейся его записки, не нравились, прежде всего, морально-политические качества Ильинского, которого он обозвал черносотенцем.

А. М. Селищев самым решительным образом отстаивал необходимость приглашения Г. А. Ильинского. Свои возражения Соколову он подробно изложил в особой записке. Там разобраны доводы Соколова и показано, что циклу необходим именно ученый типа Ильинского, сочетающий лингвистическую специализацию с интересом к литературе и истории славян и способный в случае необходимости вести соответствующие занятия. «Профессор Ильинский — единственный славист, который по праву может быть профессором по кафедре славяноведения в 1-м Московском университете. Других кандидатов нет...», — отмечал в заключение своей записки А. М. Селищев [3, оп. 1-л, д. 104, л. 9, 10].

После двукратного обсуждения на этнографическом отделении, во время которого Ю. М. Соколов «остался при особом мнении», кандидатура Г. А. Ильинского в конце концов была вновь представлена в деканат, и последний согласился с решением отделения [3, оп. 1, д. 57, л. 113]. В начале 1927/1928 учебного года Г. А. Ильинский был утвержден Главпрофобром профессором 1-го МГУ [3, оп. 1, д. 58, л. 14об.] и затем переехал в Москву. Тогда же было подобрано большинство преподавателей славянских языков.

Оставалось, конечно, еще много вопросов. Однако благодаря усилиям А. М. Селищева важнейшие условия, обеспечивающие существование цикла южных и западных славян, были созданы. Начало возрождения славяноведения на этом цикле было обеспечено. Его преподавание основывалось теперь на понимании славяноведения как комплекса дисциплин. В период деятельности цикла южных и западных славян эта комплексность, как естественно предположить, должна была расширяться.

Но это — самостоятельная тема, рассматриваемая нами в названной уже выше работе [5].

ЛИТЕРАТУРА

1. Изучение истории зарубежных славянских народов в Московском университете (1917—1977). М., 1977.
2. Горяинов А. Н. Из истории университетской славистики в первое десятилетие Советской власти.— Вопросы истории славян, вып. 9. Воронеж, 1986.
3. Архив МГУ, ф. 18.
4. ЦГАЛИ.
5. Горяинов А. Н. Цикл южных и западных славян МГУ (1927—1930).— В кн.: 50 лет исторической славистики в Московском гос. университете. М., 1989.
6. Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиогр. словарь. М., 1979.
7. Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиогр. словарь. Т. 2—3. Минск, 1977—1978.
8. Супрасльская рукопись. Труд С. Северьянова. Т. 1. СПб., 1904.
9. Starine, 1871, № 3.
10. Лескин А. Грамматика древнеболгарского (древнецерковнославянского) языка. Казань, 1915; Лескин А. Грамматика старославянского языка. М., 1890.
11. Флоринский Т. Д. Лекции по славянскому языкознанию. Ч. 1. Киев, 1895.
12. Цонев Б. Хиляда години български език. София, 1914.
13. Каринский Н. М. Хрестоматия по древнецерковнославянскому и русскому языкам. Пособие при преподавании русского языка в университетах и других высших учебных заведениях. Ч. 1. СПб., 1904.
14. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР.
15. Иванова Л. В. У истоков советской исторической науки. (Подготовка кадров историков-марксистов в 1917—1929 гг.) М., 1968.
16. Летопись Московского университета, 1755—1979. М., 1979, с. 187.
17. Риттер Г. Этнолого-лингвистическое отделение.— Вестник ФОН'а, 1922, № 1.
18. Экзаменационный минимум для перехода с курса на курс ФОН'а 1-го МГУ.— Вестник ФОН'а, 1922, № 1, с. 43—44.
19. Селищев А. М. Введение в сравнительную грамматику славянских языков. Казань, 1914.
20. Бернштейн С. Б. А. М. Селищев — славист-балканист. М., 1987.
21. Покровский М. Н. К вопросу о высшем социально-экономическом образовании.— Научный работник, 1925, № 1, с. 97—104.
22. Московскому университету — 225 лет. М., 1979, с. 69.



К VI МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНГРЕССУ БАЛКАНИСТОВ

БАЛКАНСКАЯ КАРТИНА МИРА В ЭТНОЯЗЫКОВОМ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Отражение представлений о мире в разных традициях и систематизация этих представлений в рамках термина «модель мира» — тема, которая сейчас привлекает к себе особенное внимание. Взгляд на Балканы под этим углом зрения обещает новые и увлекательные перспективы. В данном случае мы решаемся оперировать термином «балканская модель мира» (БММ), быть может, несколько опережая события (но этот термин уже введен в научный оборот, пусть и в ограниченной сфере).

Естественно, БММ как концепт требует ряда оговорок. Хотя понятия *балканцы* (в которое вкладывается и нечто большее, и нечто иное, чем только географическое указание на «место жительства») и тем более *балканский менталитет* употребляются достаточно широко, точного определения они пока не получили. Литература, посвященная схождениям балканских традиций, балканской культуры, весьма обширна, но свой Сандфельд здесь пока не появился. Впрочем, может быть, для этой области и не нужно требовать такой системы, которая бы соответствовала тому, что сделано и делается для лингвистического уровня балканской общности, и описание должно идти по каким-то иным критериям.

Тем не менее устремленность к выстраиванию БММ представляется оправданной, получая дополнительную опору в том, что понятия *балканцы* и *балканский менталитет* не внесены и з в н е исследователями: в определенной степени они являются и *самоназванием*, *самоопределением* их носителей.

Первое же соприкосновение с отдельным членом того, что мы определяем как «балканская общность», т. е. с каждым балканским народом, с каждой балканской традицией, раскрывает их глубокую индивидуальность, неповторимость, непохожесть. Более того, можно говорить об их противопоставленности по самым разным основаниям: этническим и этноязыковым; этнокультурным; конфессиональным; профессиональным; географическим и т. д. Эта система, в свою очередь, не только фиксируется исследователями (и з в н е), но поддерживается, более того, ревностно отстаивается ее носителями, — в то же время ощущающими свою принадлежность к прочному единству, противопоставляющему их остальному, *не-балканскому* миру. Ситуация в общем известная, но здесь может поразить разработанность и четкость национального самосознания, которое позволяет почти моментально проходить ступени от *балканца* — в данном масштабе понятия предельно общего — до *себя самого, своего дома* (ядро «малой родины»), противопоставленного ближайшему соседу. Возникает вопрос, стоит ли так стремиться к обобщению (которое не может не содержать в себе и некоторого огрубления), если частное, индивидуальное сохраняется и оберегается с таким тщанием?

Конечно, не только балканскому самосознанию свойственно одновременное ощущение общности и индивидуальности, принадлежности ко всему человечеству и принадлежности себе и только самому себе. Однако специфика Балкан — продолжительные и продолжающиеся межэтнические контакты, развивающиеся, так сказать, в полярных жанрах —

от трагедийного до пасторального — реализуют эту универсальную особенность в ярком, специфически *балканском* образе.

Специфика «балканскости» как основообразующего свойства структуры БММ заключается в том, что явления, может быть, и не уникальные складываются в такую причудливую мозаику, что их монтаж создает нечто глубоко оригинальное, глубоко балканское и в этом смысле уникальное. Эта особенность проверена и испытана на лингвистическом уровне применительно к балканскому языковому союзу (БЯС). «Балканскость» и несет в себе тот энергетический заряд, который позволяет подойти к пониманию прошлого и настоящего и даже к прогнозированию будущего для каждой отдельной балканской традиции, исходя из заложенной в них общности.

Итак, мы исходим из двух основоположных свойств балканского мира (в разных его воплощениях и отражениях): 1) уникальность, возникающая из монтажа не-уникальных элементов; 2) существование общности только на основе разного: общее поддерживается индивидуальным и в свою очередь питает индивидуальное.

Для описания столь сложной ситуации существуют разные пути, и среди них тот, который не предполагает предварительной выработки предельно детализированного и логически безупречного аппарата. Сеть, набрасываемая в первую очередь, имеет намеренно крупные ячейки, которые задерживают лишь нечто *большое* — во всех смыслах слова. Если же размер ячеек предельно уменьшить с самого начала, то мы рискуем растворить *большое* в *малом* и исказить представления о картине мира (БММ) из-за чрезмерной жесткости требований. Раз уж мы употребляем слово «картина», то пусть это будет картина, на которую надо смотреть издали: только на расстоянии отдельные мазки образуют цельное изображение. Конечно, следующий шаг должен возвратить нас к этим отдельным мазкам, чтобы понять, почему, каким образом именно они создают это единственное в своем роде изображение.

Наш круглый стол и направлен на то, чтобы высветить разные локусы балканской картины мира в синхронии и в диахронии, в динамике и статике, в истоках и предпосылках и в том, что составляет смысл сегодняшнего дня. Основной пружиной балканистических процессов предполагаются языковые, культурные и этнические контакты, для которых Балканы оказались своего рода полигоном.

ЦИВЬЯН Т., канд. филол. наук,
ст. научн. сотрудник ИСБ

О языковых, культурных и этнических контактах на Балканах

Балканы представляют собой зону (точнее, несколько связанных друг с другом зон), благоприятствовавшую контактам этносов, языков и культур, находившихся или хотя бы на протяжении определенного отрезка времени мигрировавших (распространявшихся посредством диффузии) в пределах Балкан. В качестве модели таких процессов уместно рассмотреть те, которые имели место на протяжении последних веков. В этом плане интересным представлялось бы детальное изучение, например, судьбы цыган и цыганского языка на Балканах. В подобных случаях особо обращает на себя внимание существенность модели диаспоры в ее противополжении модели замкнутого существования определенного этноса, языка, культуры в пределах узко очерченной территории. Последнее наблюдается на Балканах в значительно меньшем числе случаев и под явным влиянием факторов, сознательно формирующих искусственное размежевание. Иначе говоря, каждая из двух указанных моделей не остается чисто теоретической, а направляет развитие по одному из соответствующих путей.

Явления языкового союза и другие обнаружения ранее действовавших контактов на территории Балкан позволяют ретроспективно восстановить

предшествовавшую ситуацию, благоприятствовавшую далеко идущим результатам таких контактов.

В качестве одной из проблем, детально изучавшихся (в частности, румынскими лингвистами) на протяжении ряда десятилетий, сто́ит обратить внимание на восточнороманско-славянские контакты, охватывавшие период примерно полутора тысячелетий. На самом раннем из достижимых для исследования этапов речь могла идти, в частности о двуязычии, результаты которого (как давно предположил Дж. Бонфанте) сказались в почти полном тождестве таких фрагментов фонологических систем, как вокализм. Интересным и еще недостаточно выясненным вопросом остается и проблема возможного тождества на глубинном уровне славянских конструкций с винительным падежом одушевленных имен существительных и румынских конструкций с предлогом *pe* (хотя наличие типологических параллелей в иберо-романских конструкциях с предлогом *a* позволяет предположить для этого и иное объяснение — как сохранение в периферийных областях распространения вульгарной латыни древних конструкций, интерпретируемых как разные виды перекодирования субстратных дороманских).

В области лексических влияний интерес представляет примерно одинаковая роль романских и славянских элементов в результирующих текстах: показательны тексты типа румынского перевода заглавия «*Război, și rase*», где два слова соответственно славянского и романского происхождения соединены исконным элементом в синтаксической функции. С той же точки зрения представляет интерес соотнесение элементов разного происхождения в текстах разных речевых жанров на других балканских языках (албанском, болгарском и т. п.). Интересны возможности использования разных пластов лексики для создания специальных эффектов (звукочисль: *zîmbrul sombru și regal* у М. Эминеску при черновых вариантах типа *leul*→*zîmbrul* и т. п.).

Культурное единство всего ареала или значительных его частей связано с распространением отдельных мотивов и лексических элементов, их кодирующих (ср., например, ряд фольклорных сюжетов, таких, как вампиры и соответствующие обозначения славянского происхождения с фонетическими преобразованиями в отдельных балканских языках). В качестве одного из подобных явлений, допускающих достаточно раннюю датировку, судя по его византийским источникам, можно было бы отметить тот строительный обряд с жертвоприношением (первоначально человеческим), который трансформируется в соответствующий фольклорный сюжет, на румынском материале детально изученный М. Элиаде в специальной монографии.

Если часть общевалканских культурных и языковых явлений связана с греческим влиянием, как это часто предполагается, то особый интерес представляет возможность значительного углубления хронологии отдельных явлений этого рода, если они действительно (как это вытекает из исследований М. Гимбутас о палеобалканском происхождении некоторых элементов древнегреческой символики) через греческие семиотические системы восходят к древнебалканским.

ИВАНОВ ВЯЧ. ВС., д-р филол. наук
ведущий научн. сотрудник ИСБ

Южные славяне в балканской] перспективе

Представляется принципиально важным посмотреть иногда на ту или иную проблему, все аспекты которой как будто бы хорошо изучены, с какой-то совершенно новой стороны. Несомненно, что это позволяет расширить «пространство размышления». Примером может служить, например, кардинальная для славистики проблема различий между северными и южными славянами. Хорошо известно, что славянские языки, единые в своем генезисе, уже в поздний праславянский период, в период его диалектной дробности, могли получить различные импульсы в зависимости от условий становления и формирования того или иного пра-

славянского диалекта. Эти различия могли быть результатом внутреннего развития. В таком случае нет нужды для их понимания выходить за пределы собственно славянского языкового материала. Однако следует иметь в виду, что многие процессы праславянского периода были обусловлены конкретно-историческими обстоятельствами, в которых жили носители праславянских диалектов. И поэтому исследователь истории праславянского языка должен в равной степени учитывать контакты как с родственными индоевропейскими языками (балтийскими, германскими, кельтскими, иранскими и др.), так и с неродственными (финно-угорскими, тюркскими и др.). В различные исторические периоды роль этих языков будет, конечно, неодинаковой.

В свете задач нашего круглого стола я хочу обратить внимание на своеобразие южнославянских и, точнее, балканославянских языков. По многим фонетическим, грамматическим, словообразовательным и лексическим признакам они четко противопоставлены языкам северной группы — восточно- и западнославянским. Начало этих различий следует искать в середине I тысячелетия н. э. — в VI—VIII вв. В этот период значительно расширилась территория заселения славян, и продвижение их в том или ином направлении существенно сказывалось на дальнейшей судьбе отдельных славянских языков.

Предки северных славян, как правило, продвигались в пустынные или малозаселенные области. По уровню материальной и духовной культуры, по своему общественному развитию они не уступали, а, как показывают новые исследования, по некоторым признакам и превосходили коренное население. Не было существенных различий и в климатических условиях — по сравнению с областью их прародины (конечно, это не касается той относительно небольшой группы славян, которая поселилась в зоне Ледовитого океана). Иной была судьба предков южных славян, которые в довольно короткий срок — два столетия — заселили обширные районы Балканского полуострова, вплоть до его самых южных областей. И здесь славяне столкнулись с новыми климатическими условиями, с неизвестным растительным и животным миром. Но главное состоит в том, что они вошли в сферу активного воздействия византийской культуры, носителями которой были не только греки, но и представители иных народов. Балканы были одним из центров европейской цивилизации. И понятно, что контакт с носителями высокой культуры, с отличной от своей социальной организацией, военным устройством, народным бытом и т. п. привел к коренным изменениям всего жизненного уклада славян. В глазах византийцев они еще долго продолжали оставаться варварами.

Новые условия жизни на Балканском полуострове, конечно же, оказали глубокое влияние на многие стороны жизни славян. Однако нельзя думать, что все особенности балканских славян явились следствием византийского влияния. Мы знаем, что их племенное устройство было лишено стабильности, характерной для племенного быта северных славян. Еще до переселения на Балканы, но особенно после этого периода шел процесс интенсивного размывания устойчивости древних племенных организаций. Неслучайно, что на Балканах почти не сохранились старые племенные этнонимы — можно упомянуть лишь такие названия, как сербы, хорваты, смоляне, дреговичи. Основной же корпус этнонимов — уже балканского происхождения: тимочане, мораване, босняки, захлумяне, тревуняне, конавляне, дукляне, неречане, струменци, сагудаты, ваунити, велегезичи и др. По-видимому, они не являются прямыми наследниками племен добалканского периода, а сформировались здесь из разнородных элементов. В ряде районов (Средняя и Южная Греция, Малая Азия) это смешение способствовало сравнительно быстрой их ассимиляции.

Возможно, необходимо учитывать какой-то новый, нетривиальный взгляд на общую проблему — например, в аспекте различий менталитета южных и северных славян. Это позволило бы глубже объяснить одну существенную особенность этнической и национальной истории балканских славян, которая обособляет их от северных славян. Речь идет о слабых центростремительных тенденциях в истории южных сла-

вян, что позволяет в какой-то степени объяснить формирование уже в наше время н о в ы х национальных образований. В этой связи обратим внимание на процессы, приводящие к возникновению македонской, черногорской, боснийской наций, на то, как бурно и в относительно краткое время они происходят. Иначе протекали аналогичные процессы в этнической (и национальной) истории северных славян. Здесь национальные признаки характеризовались большей устойчивостью. Достаточно привести один пример. Польский народ в течение длительного времени (XVIII—XX вв.) был разъединен. Возрождение Польши вызвало большие трудности в сфере промышленности, транспорта, торговли, так как разные ее части были ориентированы в период раздела на Россию, Австро-Венгрию, Пруссию. Однако объединение всех поляков в одном государстве не вызвало подобных трудностей в области литературного языка и культуры. Длительное разъединение не разрушило единый литературный язык, несмотря на существование некоторых фонетических вариантов и лексических особенностей. Разъединение Польши не привело к губительным последствиям и в области национального сознания.

Возвращаясь к южным славянам, хотелось бы обратить внимание еще на некоторые моменты. Заселение Балканского полуострова началось во второй половине V в. и завершилось в основном в VII — начале VIII в. В разное время оно шло различными путями — через Дакию и Паннонию, с неодинаковой интенсивностью. Первая мощная волна переселенцев двигалась по северо-западной Болгарии — район Моравы и Тимока, и в течение столетия славянами были освоены Западная Болгария, Македония, Фракия, Эпир, Фессалия, побережье и некоторые острова Эгейского моря. Вторая миграционная волна хлынула в середине VI в., и в результате была славянизирована современная северо-восточная Болгария, область Хемус. Несомненно, между славянами первого и второго потоков миграции существовали языковые отличия. Это было установлено выдающимся болгарским лингвистом Ст. Стойковым, который выявил для древнеболгарского периода два диалекта: центральный и периферийный. Существовал и третий поток славянской колонизации Балкан — в VII—VIII вв., захвативший западные районы Балканского полуострова. Известно при этом, что отдельные славянские племена, двигавшиеся с этим потоком, доходили до Пелопоннеса. По лингвистическим данным, этот поток, вероятно, отличался от первых двух. Конечно, кроме основных волн миграции имели место и локальные перемещения, которые также играли важную роль в формировании современного диалектного ландшафта.

Соприкосновение предков южных славян с Византией и другими народами, населявшими Балканы, интенсивные контакты славян с носителями различных языков и диалектов не могли не сказаться на языке. Заметным было влияние на язык славян греческих диалектов, народной балканской латыни; влияние фракийского языка, вероятно, не могло быть сильным, поскольку завершался период его ассимиляции, однако несомненно, что из сферы народного быта, верований фракийцев многое было глубоко усвоено балканскими славянами. Южнославянские языки претерпели глубокие изменения на новой территории их бытования. Эти изменения характерны прежде всего для болгарского и македонского языков (а также для некоторых восточносербских диалектов), наиболее впечатляющим является развитие аналитизма. Многие важные новообразования в области грамматики (синтаксиса), так называемые «балканизмы», роднят их с новогреческим, албанским, восточнороманскими языками. Существование «балканского языкового союза» — реальность, однако причины его возникновения, механизм его функционирования продолжают быть предметом горячих научных дискуссий. И в этом направлении предстоит кропотливая работа, в которой будут принимать участие не только слависты и специалисты по другим языкам, но и ученые, занимающиеся проблематикой языковых контактов.

*БЕРНШТЕЙН С. Б., д-р филол. наук,
ведущий научн. сотрудник (консультант) ИСБ*

В свете обозначенной С. Б. Бернштейном проблемы различий между северными и южными славянскими языками — различий, которые с несомненностью констатируются, но не получили еще исчерпывающего объяснения, — значительный интерес представляет изучение путей продвижения древних славян из области их прародины на юг — на Балканы, в частности, через Карпаты. В последние десятилетия многое сделано для конкретизации идеи замечательного советского лингвиста В. М. Иллича-Свитыча о роли «карпатской миграции славян» (КМС), впервые высказанной на IV съезде славистов и развитой в специальной статье — «Лексический комментарий к карпатской миграции славян» (Изв. АН СССР. Сер. ОЛЯ, 1960. Т. XIX, вып. 3). В. М. Иллич-Свитыч рассматривал миграцию славян как важный этно-лингвистический сдвиг, нарушивший прежнее соотношение частей (resp. диалектов) древней Славии и одновременно вызвавший активные процессы в развитии семантики. Действительно, на начальной стадии миграции, не позднее III в н. э. в условиях жизни славян, проходивших через Лесистые и Западные Карпаты (и — что важно — обживавших их) происходили существенные изменения: новая географическая среда и новый языковой субстрат не могли не вызвать значительных сдвигов в лексике и семантике. Зачатки их следует искать, по мнению Владислава Марковича, у северных (восточных и западных) славян, заселяющих и ныне Карпаты и говорящих на диалектах во многом архаичных и отличающихся от соседних равнинных диалектов (карпатоукраинские, малопольские гуральские, словацкие говоры Белых и Малых Карпат и под.). Анализируя семантические отношения ряда лексем, прежде всего терминов ландшафта, В. М. Иллич-Свитыч высказал важные соображения о времени и условиях осуществления КМС, о методике изучения семантических инноваций, о необходимости учета пространственной характеристики соответствующих единиц. Он писал: «...практически отнесение лексического процесса к периоду КМС требует установления двух связанных между собой общими лексическими явлениями зон: южнославянской и севернославянской (карпатской); ...здесь важно, чтобы на остальной севернославянской территории данное лексическое (семантическое) явление не было засвидетельствовано» (с. 222). К счастью, идея КМС не только была сформулирована, но и получила реальное воплощение, при активном участии ее автора, в двухтомном «Карпатском диалектологическом атласе» (М., 1967), который дал новый и чрезвычайно богатый материал о специфических связях карпатоукраинских говоров с говорами балканославянских языков. КДА явился лингвистической базой для воссоздания фрагмента истории заселения некоторых областей Балканского полуострова. Можно лишь сожалеть, что эти изыскания в дальнейшем не были продолжены в необходимых масштабах. И лишь в конце 70-х годов идея КМС вновь приобретает актуальность и получает дальнейшее развитие — в связи с возможностью разрабатывать тему славянской миграции на Балканы в качестве одного из аспектов более общей проблематики карпатского языкознания и тем самым связывать рассмотрение КМС с изучением этно-лингвистических взаимодействий и интерференций в масштабах генетически гетерогенного континуума, охватывающего карпато-балканскую макрону. Эта проблематика исследуется в рамках «Общекарпатского диалектологического атласа», создание которого — цель международного коллектива диалектологов во главе с советскими учеными. Уже сейчас, в процессе подготовки первых выпусков Атласа, оказывается возможным продолжить каталогизацию специфических карпато-южнославянских параллелей, изучение типов корреспонденций отдельных микрозон в карпато- и балканославянской областях. Вместе с тем работа над ОКА позволяет уточнять и некоторые теоретические аспекты гипотезы о КМС. Так, на современном этапе наших знаний о соотношении отдельных зон Славии целесообразно, по-видимому, рассматривать КМС в конвенциональном смысле — как гипотетическое построение, позволяющее в некоторых

случаях достаточно убедительно интерпретировать известные ныне факты (при том, что может учитываться и, например, возможность собственно семантической эволюции, которая не связана с экстралингвистическими факторами).

КЛЕПИКОВА Г. П., канд. филол. наук,
ст. научн. сотрудник ИСБ

«Балканское» и его истоки: древнебалканская
нео-энеолитическая цивилизация

0. Понятие «балканского», которое имеет не просто классифицирующий или генерализирующий смысл, но отсылает к более глубокой и важной идее и формируемому параллельно ей соответствующему объекту, предполагает непереносимое обращение как к балканскому макроконтексту (о чем см. в другом месте), так и к балканским «началам». Балканский макроконтекст предполагает совокупное участие нескольких творческих сил (или сфер) — геофизической, природно-экологической, био-антропологической, культурно-исторической. Культурная история Балкан известна науке на протяжении примерно 8 тысяч лет, без сколько-нибудь значительных перерывов. На наших глазах «третий человек» (по Веберу), в котором еще ощутимы черты потомка неандертальца, человека узко-примитивной и весьма экстенсивной культуры, создает на Балканах новую культуру совершенно иного типа. В позднем неолите, халколите и эпохе бронзы, как и позже в середине I тысячелетия до н. э. Балканы — то место, где совершается «осевое время» и где старое наследие и его субъект — «der dritte Mensch» сохраняются чуть ли не до рубежа двух последних веков. Балканский макроконтекст нуждается в определении своих пространственно-временных рамок и соответствующих идей и форм их отражения в «балканском» типе. Временной аспект реализует прежде всего идею изменчивости; пространственный — идею стабильности. Обе они имеют прямое отношение к проблеме жизнеобеспечиваемости. Балканское пространство — и его внешняя конфигурация с почти шестикратным преобладанием морской границы над сухопутной (срезанность береговой линии и обилие островов), и его внутренняя структура (размещение горных массивов, их направления, места «куступаемые» человеку, и т. п.) — задает ту матрицу, в соответствии с которой штамповался «балканский» модус жизни — особенности расселения человека, организации социума, занятий, сферы духа. Балканское пространство определяло для человека сферу возможного и необходимого, выдвигало перед ним предложения-приглашения, императивы, запреты. Человек, помня о своих жизненных потребностях, не мог не считаться с имеющимися условиями, но, принимая их, он оставлял себе известную свободу в выборе способов адаптации. Культурная многокомпонентность Балкан делала первоочередной проблему связи между компонентами, проверку ее действенности и контроль над уровнем взаимопонимаемости. Тождество-различие, соединение-разъединение, свое-чужое и т. п. — вот вопросы, которые требовали особой методики их решения, поскольку от них зависело обеспечение стабильности. Именно поэтому *Homo balcanicus* с е м и о т и ч е н по преимуществу — и как объект исследования, и как субъект-«знакопользователь», а «балканский» космос в столь значительной степени ориентирован на и н ф о р м а ц и ю (ее получение, хранение, обмен) и, следовательно, на диалог или даже полилог, на многосторонний и взаимный перевод-перекодировку основных смыслов и ценностей, на постоянный учет антитетических начал, на синтез, при котором составляющие не перерабатываются в нечто монолитное, но скорее образуют своеобразную федерацию, когда отдельный элемент то подчеркивает свою самость, то, напротив, свою «союзность».

Некоторые из этих черт с большей или меньшей достоверностью проявляются уже в том первом великом прорыве древнеевропейской неолитической цивилизации (ДБН), которая имела место на Балканах. Эти истоки и идущая от них на тысячелетия эстафета передачи культурных

ценностей многое объясняют в «балканском» феномене, который все более привлекает к себе внимание исследователей, но и сами эти истоки, по крайней мере в своих основах, получают объяснение в рамках балканского макроконтекста.

1. Открытие ДБН и определение его пространственно-временных границ сразу заполняет ряд важных лакун в истории Древней Европы. Некоторые верхнепалеолитические особенности получают дальнейшее развитие в ДБН, где в то же время формируются существенные новые тенденции, решительно отделяющие ДБН от всего предыдущего. Еще теснее и богаче связь ДБН с эгейской культурой (III—II тыс. до н. э.). Вместе с тем ДБН связывает этот ареал с соседними: впервые устанавливаются надежные связи «Запада» и «Востока» и обретает конкретный смысл понятие «евразийских» контактов и соответствующей культурной общности (связь ДБН с М. Азией и с Сев. Причерноморьем, «курганная» культура); отчасти намечаются и «меридиональные» связи (ср. инфильтрацию некоторых черт ДБН к северу от Карпат; в верховьях Вислы и Эльбы). Показательна аналогия между переносом центра тяжести в развитии ДБН в завершающий момент в южную область (Эгеида) и сходным переносом к югу и востоку в истории неолитической культуры М. Азии (Чатал Грюк → Эбла, Двуречье, Египет). Связующая роль ДБН еще больше подчеркивает самодовлеющее значение этой цивилизации, выступающей как главная культура Старой Европы, та ее ветвь, которая получила наибольшее развитие и выработала новые формы, удерживавшиеся отчасти вплоть до раннеантичной поры.

2. Основными чертами ДБН следует считать установку на «интенсивность», «кумулятивность» и «синтетичность» (при этом существенно не наличие «старых» элементов, но выдвижение «новой» альтернативы, становление и осознание соответствующих принципов, благодаря чему ДБН и составляет особую эпоху в развитии культуры). «Интенсивность» проявляется прежде всего в новых формах экономической жизни: акцент с удачи и случая, с «чистой» эмпирии переносится на целеполагающую деятельность, на производство (а не захват), когда приложенные усилия отделены от их плодов определенным временем, — ср. земледелие, скотоводство, ремесла (прежде всего медная металлургия, производство металлических изделий, украшений, гончарное производство, строительная деятельность, развитие средств коммуникации — колесо, повозка и т. п.). С установкой на «интенсивность» связан отказ от «безгранично-широких» пространств и сужение круга хозяйственной деятельности границами поселения (иногда очень компактно-уплотненного, ср. Караново) и непосредственно прилегающей территории. Не экстенсивные разрозненные поиски, а сосредоточенное, в соответствии с правилами «порождения» (этот образ, задаваемый сельскохозяйственной практикой и природой, вторично воплощается в религиозных представлениях, ритуале, искусстве, ср. женщину-«родительницу»). «Кумулятивность» и «синтетические» тенденции ДБН сказываются как в сохранении и развитии наследия предыдущей эпохи (ср. в.-палеолит, символику, отчасти некоторые формы святилищ), так и в усвоении «внешних» влияний (ср. отчасти связанные с М. Азией и, бесспорно, с инфильтрацией племен курганной культуры, со второй половины V тыс.), ср. Гимбутас о религиозном синтезе в ДБН. С указанными особенностями связана и известная «открытость» ДБН и ее относительно мирный характер (отсутствие крепостных стен / вместо них палисад или ров /, явных следов нападений и разорений, ср. тип хаотических поселений / Лендьел и др. / или сильно вытянутых / Винча, Бутмир /). Предполагаемые матрильность и матрифокальность также скорее говорят в пользу именно подобного характера ДБН. Остается неясным вопрос о существовании каких-либо форм объединения отдельных поселений в целостные структуры управления, но, несомненно, акцент ставился не на (со)подчинении, а на самодостаточности, независимости и, видимо, взаимовыгодности такого разного, но, по сути дела, экономически и культурно связанного сосуществования.

3. Указанные общие особенности и конкретные черты экономического и социального устройства, сферы власти и взаимоотношений с соседями в высокой степени соответствуют и существенно определяют исключительный для той эпохи уровень знаковости, характерный для ДБН. И в этом отношении главным было, видимо, не экстенсивное развитие неких принципов знаковости (как в том, что касается тенденции к иконичности и институализации знаков именно этого типа, так и в слабой селективности в отношении путей распространения знаков на внезнаковую сферу, в несколько монотонной постепенности «захвата» знаками новых областей, в тяге к излишней «знаковой» пунктуальности: установка на исчерпание «знаками» всего в пределах данного горизонта и т. п.), но, наоборот, и н т е н с и в н о е знаковое развитие, при котором сам принцип развития сильно опережает «знаковое» освоение эмпирии. Отсюда — типичная ситуация: как только начинает вырисовываться принцип, совершается операция перехода на более высокий (или глубокий) уровень, где начинается опять кристаллизация его принципа. Именно с этим связаны такие разные явления, как перекодировки, смелые переключения, перескоки (с эллиптическими опущениями переходных элементов), создание «моделей» — от «буквенных» (ср. инвентаризацию трехмерных «скульптурных» знаков с помощью двухмерных знаков по плоскости глиняных конвертов) до «предметных» (ср. модели фигур — человеческих и животных, храмов и святилищ, колесниц и т. п.). Эти явления не могут не означать формирования оппозиции «означающее» — «означающее» и допущения возможности разных типов последнего, т. е. создания сети отождествлений, соответствий, трансформаций, и, следовательно, выработки идеи «к о н в е н ц и о н а л и з м а». В этом контексте не должна удивлять исключительная роль в ДБН знаков типа «символ», свидетельствующих об актуализации наиболее глубоких и интенсивных «духовных» смыслов. В этой связи показательно употребление «предписменных» знаков на сакральных предметах (в святилищах, на сосудах, фигурах и т. п.) — в отличие от цивилизаций, утилизировавших письменность для сугубо прагматических целей (а для *низкой жизни были числа...*).

4. С открытием «знакового» как особой сферы бытия и удивительным проникновением в область «символического» связана исключительная для своего времени глубина религиозных идей ДБН, их интенсивность и масштабность, проявившаяся в существенном ограничении аспекта «суеверного» (отказ от чрезмерностей системы гарантий и оберегов на каждом шагу, от гиперсемиотизации всего возможного множества явлений, от мелочных и непринципиальных отгораживаний от смерти) и в новом решении проблемы смерти (выбор идеи динамического риска, включение смерти в цепь «жизнь» — «возрождение», т. е. новая усиленная жизнь, обретаемая только через смерть, и т. п.). Эти высшие религиозные ценности ДБН отражены прежде всего в фигурах основных персонажей — двух богинь, трактуемых как «даятельница» и «лишительница», жизнь и смерть, победа и поражение, и мужского божества годового цикла («пред-Дионис»), совмещающего в себе смыслы обоих членов перечисленных пар, а также в символике (птица, змея, круглый, прямоугольный /ср. окна-входы в моделях храмов/, крест, меандр и т. п., образ грибов и фаллоса), «разыгрывающей» прежде всего тему пола и жизни-смерти. Обращает на себя внимание особая роль ритуала как способа знакового решения «надзнаковых» проблем (регуляция конфликтных ситуаций, установление связей между человеческим и божественным, преодоление антитезы жизнь — смерть) и глубинный изоморфизм жреца и жертвы, а также жреца-жертвы и Бога. Есть основания думать о мистериальном характере ритуальных действий в ДБН.

5. Особая проблема — культурное наследие ДБН в античную эпоху. Ряд аналогий очевиден. Здесь уместно обозначить лишь несколько узлов разного типа: роль «глубинных» областей в развитии религиозно-эзотерических идей и образов (Фракия, Фессалия) — Дионис, Орфей, Залмоксис, 'Hρως и др., возможно, истоки элевсинских

мистерий, провидчески-пророческий компонент, формирование идеи жертвы; «земледельческий» комплекс — Деметра, Персефона, Триптолем; хтонически-змеиные темы; исключительная роль женских божеств (Гера, Афина, Артемида, Афродита, Деметра и др.) и старинное «материнское» право (ср. Эринии и Орест); роль скульптуры (образ человека, особенно типа кикладских идолов), вазописи, геометрического стиля; символика и ранние формы письма в Эгейде; полисная система, некоторые особенности структуры власти и социальной организации; процесс колонизации как отражение культурной трансплантации и т. п.

Важный аспект — связь образа человека с храмом и ритуальной утварью (сосуды), дающая примеры сложных синтезов от ДБН до античности. «Антропоморфизация» храма и его атрибутов может быть понята в рамках архаичной классификации сакральных элементов мира через части тела человека (P u g u s a). Два полюса — «антропоморфная» модель святилища (Породин, 5800—5600; крыша и труба — как голова, шея и грудь богини, сам храм — тело божества, алтарь — сердце) или головы на углах крыши модели храма из Винчи, во-первых, и четкое разведение раннеантичного храма на «архитектурное» (храм) и «человеческое» (скульптура в храме, человеческие фигурки в святилище, гробнице); во-вторых, ср. черты «архитектурности» от кикладских идолов до ранних курсов с их почти архитектурной статуарностью. Ритуальные сосуды по идее связаны и с человеком и с храмом (ср. «сосудообразность» некоторых моделей храма в ДБН; вазы в виде богини-матери /Мохлос, Маллия, 2400—2000/, сосуд как ритуальная постройка /Киклады/, образ человека в вазописи); ср. еще «птичью» тему (модель храма как скворешни /ДБН, Румыния/; культурная ваза с 3 голубками /Гераклион, 2500—2000/, чаша с птицей /Палеокастро, 2000—1700/; а с к как стилизованный образ птицы /с яйцом/ и др.).

ТОПОРОВ В. Н., д-р филол. наук,
ведущий научн. сотрудник ИСВ

Балканы как космос хайдутства

*(Из работы о национальной образности болгарской поэзии)**

Космос хайдутства — это прежде всего Б а л к а н. И как собственное имя — гор Балканских, и как нарицательное обозначение для «горы» вообще. Балкан, как и Болгария, — земля-стихия. Но если она, Болгария как Матерь, — есть земля мягкая, лоно плодородное-природное и природному закону покорно и плодотворно служащее («земной рай» — как никак!), то Балкан есть взмет земли — к небу, потуга ее великая как бы отлететь от самой себя: на острие — и в небо- в Дух превратиться — алкание таково тут тяжкой и мокрой Матери-и, уставшей все рожать да рожать, да погребать, да хоронить-сеять в могилы-борозды... Как в электричестве с острия стекает ток, который есть Эйнштейново превращение Массы — в Энергию ($E = mc^2$), — так и в складчатости горы: мать-сыра земля, усилиясь и уплотнив максимально свое вещество в устремлении-тяге к небу-Свету (c^2 в формуле Эйнштейна тут свою роль играет: как воля-тяга вверх; Воля — Энергия Земли в Эросе-стремлении ее по вертикали перейти в Небо — пропорциональна как бы квадрату скорости Свята Духа), — истекает туда «песней гайдуцкой», что «Балкан поет»... Да, Ботева песнь есть Космотворение Болгарии: сам Космос ее и Психея излились тут в Логос-Слово через его душу и язык, через его сосуд избранный, «богов орган живой» (как Тютчев про Пушкина выразился). Если, по Гегелю, Дух есть самосознание Природы, то вот в Духе-стихе Ботева Болгария, как Татьяна пушкинская, не веря себе от радости, могла воскликнуть: «Ужели Слово найдено?» — для обозначения Меня, мне для самопонимания и узнавания — в хаосе Бытия, среди других

* *Примечание редакции.* Настоящее выступление представляет собой фрагмент отдельной работы автора о болгарском Космо-Психо-Логосе.

судей-субстанций-стран, уже нашедших для себя свои, им присущие слова?..

Балкан = первое отрицание Земли-Матери-и на пути ее в Небо-Дух. Земля как Мать — влажна и водна и размягчена. Она сперва жестянеет, крепчает, мужает — в камень обращается: жижка при этом выдавливается; и становится земля-стихия антиприродна, смертельна, неорганична: выходит из закона Жизни-При-Роды-рождения — в закон Смерти. Но на вершине — на пределе уплотнения в острие (уже не кремьень, а алмаз!) — вдруг второе отрицание вещества, материи аннигиляция — в Энергию, в Дух. Это уже — как *Et resurrexit!* = «Воскрес!». Т. е. пройден — не цикл-руг: Рождение-Жизнь-Смерть-Воз-рождение..., — а именно прямая, Ось-Вертикаль: Жизнь (как плоскость земли), Смерть (как падение-вертикаль вниз) — и Воскресение (как вертикаль вверх: взлет!).

Так что Балкан — это не камень-хребет-гора, а именно кромка Земли и Неба, последняя грань Земли-Матери-и перед истаеванием в Воз-Дух и Свет и Ветер и Песнь! Балкан — это Земля — на взлете! Наилучше это в космосе «Хаджи Димитра» представлено: тут именно край Земли не сбоку, а вверх, вынос ее к небу и свету в близь. Здесь — «край света»: как его (Света) при-спуск-«кенозис» (-сошествие через самоумаление, как Бог — во человека, во Христа умалился: по мере человека стал, чтоб ему понятным быть), ласкание Светом — Земли. Так Зевс — на горах ведь: на Иде, например, — любил любить супругу свою Геру... И в «Хаджи Димитре»: звездное небо близко — рукой подать, а в долинах Матери-и-земли о нем и не думают, не видят... И Ветер там дышит-вевет на приволье, не стесненный пазухами-лонами-ловушками Земли. И на приволье там Балкан свой нестесненный голос подает: «Балкана пее хайдушка песен...».

Балкан так относится к Болгарии, как Волга — к России как Матери-сырой-земле. Такая меж ними родственная пропорция. Ну да: Волга — тоже вода, как и русская земля, которая — «вода-земля»-«мать-сыра». Но если в теле России-равнины земля растекалась по нивелирующей воле воды (вода ведь склонна равнину из всего образовывать), ибо сама водою пропиталась: есть сырь и серь, болото и засос-затяг вниз — русалочий (недаром и девы-«духи» русские водны, тогда как болгарские «юды» и «самодивы» — более воздухо-огненны, хотя и тоже с водой есть связь...), то в Волге-Матушке (тоже «Матушка», как и «Русь-Матушка»: равномошная ей соперница, значит, в Космо-Психо-Логосе российском) вода стала путем-дорогою — течением-устремлением в Даль, где сакральное на Руси место: не Высь, не там Бог, а в Дали Он!..

Так вот почему неудержимо тянуло поэтические природы в Болгарии именно на Балкана, в гайдуки: их тянуло — за песней, превратиться в песню: «и певцы песни о нем поют...». Так что даже Яворов, уже в мирное время свободной Болгарии, изобрел-устроил себе «Хайдушки копнения»-«страсти-мытарства» (как «страсти Христовы»), вступив в чету Гоце Делчева и освобождать Македонию пустившись — вверх, на Рилу, на Пирин-планину. Если у германцев *Sehnsucht* -«копнеж»-стремление — *dahin! dahin!* = «туда! туда!» (как Миньона у Гете, имея в виду: на юг, в даль), то в болгарстве: «хайде на балкана!» («айда в горы!») «Хайде» = их «дахин!»

Причем для Яворова четничество — это низший способ возможной ему борьбы: ему уж во Духе стоять стойко бы и в культуре, среди протитулирующих Святое дело Логоса; стоять-выносить муки... А он — не совладал, впал — в уже испытанные стези гайдутства, на широко-торную эту уже во болгарстве дорогу — телесного подвига, притянулся жанром до-вольной Свободы (до воли Болгарии = до получения ею свободы), что в середине XIX в. был принят и проложен...

Балкан — уже есть космическое преступление: заступление Земли — в Небо. Потому и естественный это ареал для преступлений и социумных законов: искусственных установлений узко-людских, по мерке труслолюдов. Тут — «Гей!» — «Хай!» — «Нехай!» — летит все, пропадом пропадает — и «к чорту», и «по дьяволите!..».

Так что уходящие «на балкана» оказываются по ту сторону добра и зла: и сами перестают его различать, и народ болгарский к ним, гайдукам, — особую меру применяет оценки поступков их. Хоть «хайдутин» — у них слово и позорное и страшное (и турки — злые «хайдутин», «хайдутлук» — разбой над человеками вершат), но когда болгарин становится «хайдутин», он уже как бы выбивает из рук турок их оружие: доказательство становится болгарам, что «и мы так можем!» — даже если гайдук этот их же самих грабит (как Индже поначалу); тут восхищение своей сильной личностью, своим царем как бы: и мы смеем! Прецедент — освобождения...

Да и то сказать: в жизни болгарства под игом, которое само есть власть принципиально преступная, чужой Социум, чужой пир... и в нем похмелье, — преступить преступление воспринимается в душе и на шкале народных ценностей — как право — естественное.

Потому и ареал ему подходящ естественный — то место Природы, где она = Свобода — от себя же самой: от родов и плодородия; в пустошах и неудобных для Жизни местах: горы, степи, пустыни, леса.

Вот где обитель гайдука Шибилы: «Высокие верхи Синих Камней, где между гнездами орлов и его гайдуцкое гнездо» (Йовков Иордан. Староцланински легенди. София, 1956, с. 5).

Гайдук — уже не человек; он — птица: преодолел земное притяжение, набрал вторую космическую скорость — и взлетел в небо, в дух и песнь, с острия Балкан разогнавшись, в небо взмыв. Потому — с орлиной-то высоты, сверхчеловеческой, — и неразличимы становятся гуманистические мерки человеческого, слишком человеческого: микроскопичны они слишком. «Шибил попрам много законов и уже не знал, да и не хотел знать, что есть грех, а что — нет» (с. 5). И Индже-воевода «никогда не делил добро от зла, никогда не спрашивал себя, что есть грех, и что — нет» (с. 125).

И — верно: с острия балканской вершины, с неба если глядеть на жизнь людей во Социуме, то просто исчезают различия низовые-плоскостные — именно потому, что на них с Вертикали смотрят, откуда они и не видны.

ГАЧЕВ Г., д-р филол. наук,
вед. научн. сотрудник ИСБ

Персонажи низшей мифологии в архаической картине мира

Для реконструкции балканской картины мира и выявления культурных балканизмов каждый этнокультурный компонент балканского комплекса целесообразно подвергнуть независимому анализу в своих собственных пределах, т. е. охарактеризовать его по отношению к другим, небалканским родственным традициям (например, славянским, романским) подобно тому, как это делается при описании балканского языкового союза. Лишь на этом фоне могут проявиться и получить интерпретацию собственно балканские черты. Огромный материал по традиционной духовной культуре всех славянских народов, накопленный в процессе работы над «Этнолингвистическим словарем славянских древностей», дает возможность увидеть балканославянские факты в общеславянской перспективе и оценить степень их «балканизмичности» (соответственно и «славянскости»). Мы хотели бы рассмотреть с этой точки зрения один фрагмент архаической культурной модели мира — народную демонологию.

Традиционный подход к народной демонологии как к замкнутому раздлу верований или как к системе фольклорных персонажей представляется в настоящее время недостаточным, поскольку он не раскрывает действительной роли низшей мифологии во всей системе архаического мировосприятия, ее связей, с одной стороны, с высшими уровнями мифологии (верховными божествами, святыми, обожествляемыми предками, потусторонним миром, космическим порядком), а с другой стороны, с

категориями обыденного мифологического сознания, с ритуально-магической бытовой и обрядовой практикой. Демонологические поверия пронизывают все сферы, уровни и жанры народной культуры, являясь неотъемлемой частью семейных, календарных, окказиональных, хозяйственных обрядов, представлений о времени и пространстве, о явлениях природы, о растительном и животном мире, о болезнях и т. п. Низшая мифология в ее полном объеме оказывается многосоставной, многофункциональной системой, включающей в качестве самостоятельных парадигм ряды персонажей, закрепленных за календарем, за отдельными видами производственной деятельности (ткачеством, пастушеством, гончарством, пчеловодством и т. д.); персонажей, насылающих и излечивающих болезни, вредящих или помогающих определенным категориям лиц (новорожденным, беременным, роженицам и др.). Такой подход требует значительного расширения круга источников для изучения народной демонологии — кроме традиционно привлекаемого материала быличек, сказок, поверий, должны быть учтены многообразные малые фольклорные формы: заговоры, приговоры, заклинательные формулы, проклятия, формулы запугивания, отгона, оберегов и т. п., а также запреты, мотивировки обрядовых действий, фразеология, лексика, т. е. все культурные и языковые контексты, в которых фигурируют конкретные мифологические персонажи (МП).

Центральные женские персонажи низшей мифологии балканославянских традиций *самодива* и *вила* были описаны с помощью того же набора различительных признаков, что и центральные женские персонажи двух других славянских традиций за пределами балканского комплекса — восточнославянская *русалка* и западнославянская (отчасти карпатоукраинская) *богинка*. По степени типологической близости эти МП выстроились в ряд: *богинка* — *русалка* — *самодива* — *вила*, таким образом, что соседние персонажи в этом ряду обнаружили наибольшую общность типологически значимых черт (что соответствует степени их ареальной близости), а крайние члены — наибольшие расхождения по ряду признаков. Для первых двух МП (*богинка* — *русалка*) общими являются признаки: безобразный (реже — привлекательный) облик, птичьи лапы вместо ног, длинные распущенные волосы, перекинута за спину груди, обитание в воде или в местах у воды, привычка расчесывать волосы, сидя возле воды, заплетать лошадиную гриву; заманивание людей в воду, на бездорожье, щекотание жертвы до смерти; любовь к музыке и танцам, связь с прядением и ткачеством и др. Для последних двух персонажей (*самодива* — *вила*) — привлекательная внешность, белая одежда, ослиные или коровьи копыта вместо ног, крылатость, связь с водой и растительностью, любовь к музыке и танцам, совместные трапезы, хороводы, игра на межах, перекрестках дорог, на цветущих полянах; насылание болезней или врачевание; сожителство с людьми и др. Среднее положение занимают *русалка* и *самодива*, которых объединяет ряд существенных признаков: сезонная приуроченность к Русальной неделе, связь с цветущими растениями, сочетание попечительных и злокозненных функций.

Отдельные признаки — единичные свидетельства, кажущиеся случайными и не показательными для МП одной локальной традиции, — усиливаются сопоставительным материалом и обнаруживают закономерные линии связей и взаимодействий. Так, одиночные данные (из юго-восточной Польши) о связи богинок с ветром (появляются в селе при сильном ветре, могут забеременеть от ветра) находят параллель в комплексе поверий о русалках (которые способны насылать бури, вихри, град; справляют свои свадьбы в грозовые ночи, в бурю; любят качаться на злаковых колосьях в ветреные дни), а также в повериях о самодивах, для которых связь со стихией ветра оказывается особенно сильной: они сами делают вихри, летают в вихре, принимают облик вихря, появляются в сопровождении ветра, распоряжаются «вихрушками», называя их своими сестрами; знаком приближения самодивы к человеку считалось дуновение ветра; в некоторых местах западной Болгарии вихрь называется «само-

вила», «самовилычка». Эта черта сближает болгарских самодив с румынскими *русалиле*, которые описываются как демоны, прежде всего связанные со стихией ветра, вихря, урагана.

Вообще связь женских МП с явлениями природы, не всегда отчетливо заметная в отдельно взятой этнической традиции, проявляется при сопоставительном изучении более обширного материала: имеется в виду, например, приуроченность их появления к периоду цветения растений или сезонная смена локусов; сильно выраженная у всех четырех МП связь с водой и местами возле воды; воздействие их на растительность. Представления такого рода обнаруживаются и в ботанической народной терминологии («самодивско-цвете», «виллин лук», и в наименовании географических объектов («Самовилска планина», «Русалийски проход»), и в названиях источников и колодцев («вилаина вода», «самодивски кладенец»); именами МП иногда обозначаются «принадлежащие им» деревья («русальная береза») и т. п. Показательны также фразеологические выражения типа: «русалки купаются», «вилы рождаются» — о слепом дожде; «самодивы танцуют» — о вихре; «Русалки свадьбу справляют» — о ночной грозе; «самодивы его тащили» — о человеке, сбитом с ног ураганом; «русалка потягла до себе» — об утопленнике и т. п.

Суммарный набор характеристик четырех персонажей, избранных нами для сравнительного анализа, представляет собой по существу универсальную систему признаков, достаточную для идентификации любого женского МП в пределах славянского и балканского ареала. Ср., например, типичный набор черт, с помощью которых описывается восточно-сербская *шумска майка* (а также восточно-романская *mama rădugii* 'мать леса'): красивая женщина, обнаженная или в белом, с длинными распущенными волосами, с большими грудями; могла обернуться старой уродливой бабой, коровой, свиной, конем, козой, стогом сена; хорошо поет, заманивает парней в лесу или у воды; покровительствует беременным и новорожденным (им же вредит); насылает детский плач и бессоницу, к ней же обращаются с просьбами об исцелении. Идентичная система признаков характеризует большинство женских МП, принадлежащих этническим традициям евразийского ареала. Ср., например, свойства античных нимф, nereид, наяд: привлекательная внешность, длинные распущенные волосы, белая одежда, перекинутые за спину груди, ослиные копыта вместо ног; связь с водой и растительностью, с прядением и ткачеством; любовь к музыке и танцам, сожителство с людьми; насылание болезней и способность их исцелять; устраивают трапезы и игрища на перекрестках, вызывают ветер и вихри и т. п. Ср. также такие черты известного многим азиатским и кавказским народам персонажа Албасты, как: безобразная внешность, длинные распущенные волосы, перекинутые за спину груди, копыта или птичьи лапы вместо ног; способность оборачиваться разными животными, копной или возом сена; обитание в воде или в местах у воды, привычка расчесывать волосы, сидя у воды; сожителство с людьми; преследование рожениц и новорожденных; насылание болезней; заплетание гривы лошадям и т. п.

Такая широкая перспектива сравнения открывает возможности изучения генетических истоков славянской и балканской народной демонологии и ее связей с мифологическими системами других этнических традиций.

ВИНОГРАДОВА Л. Н., канд. филол. наук,
ст. научн. сотрудник ИСВ,

ТОЛСТАЯ С. М., канд. филол. наук,
ст. научн. сотрудник ИСВ

Проблема «национального» стиля в балканской
архитектуре второй половины XIX — начала XX века
(в контексте европейского неоромантизма)

«Национальный» стиль определил одно из ведущих направлений в развитии архитектуры балканских народов второй половины XIX — начала XX в. Объединенные этим общим названием разнообразные по-

иски зодчих в области создания современного художественного образа сводились к стилизациям на национально-исторические темы. В искусствоведческой литературе «национальный» стиль на Балканах принято рассматривать как локальный вариант европейского «историзма» в архитектуре эклектики прошлого столетия. Более плодотворным представляется взгляд на проблему с культурологической точки зрения: здесь предпринимается попытка реконструировать некоторые свойства балканского менталитета на основе прочтения художественного явления нового времени в контексте «речи» балканской культуры. Нашей задачей является показать, как в архитектуре «национального» стиля проявляются глубинные слои мифопоэтического балканского сознания и к каким смысловым трансформациям стилевой модели — как базисного текста — это приводит.

Сущность проблемы национального стиля на Балканах состоит в двойственности семиотического модуса этого направления в культуре своего времени и возникающей в связи с этим неоднозначности «этического послания» эпохи, закодированного в архитектурном «высказывании». Эта двойственность отчасти обусловлена внешними причинами — всей совокупностью уникальной историко-культурной ситуации, в которой оказались в середине прошлого столетия зодчие молодых балканских государств.

Ко второй половине XIX в. балканские земли вышли из зоны, на которую европейцы с неоромантическим энтузиазмом проецировали миф об Аркадии, равно как и миновали период «первичной европеизации» когда миф об Аркадии формировался внутри балканского региона параллельно и проецировался то греками на сербов, то теми и другими на черногорцев. Новый — более зрелый в сравнении с периодом национальных возрождений — этап самоутверждения в этнической и государственной сфере потребовал партнерства с Европой, и потому на формирование мифологии национальной идеи оказала влияние модель мифа о Золотом веке — дальний отголосок просвещенческой идеологии в облике позднего романтизма. Потребность в идентификации собственной исторической судьбы, желание отождествить настоящее с героическим прошлым заставили зодчих в поисках первообраза национального духа обратиться к памятникам старины, создававшимся в эпохи наибольшего политического и хозяйственного благополучия, т. е. в эпохи наибольшего выявления «самости» культуры. Так, болгары отождествили свой Золотой век с зодчеством Второго болгарского царства XIII—XIV вв. (так называемое зодчество Месемврии), сербы — с храмовой архитектурой Рашки и Моравской школы, румыны вдохновлялись самобытностью крестьянского жилища Молдовы и Валахии XVI—XVII вв., а греки обратились к памятникам античности.

Поиски собственного лица в недрах национальной традиции были обусловлены и внутренними причинами — логикой архитектурного развития. В условиях, когда происходило формирование первых поколений профессиональных зодчих, как правило, учившихся за границей, обращение балканских мастеров к проблематике национальных стилизаций по образцу европейского историзма явилось знаком приобщения к более высокой архитектурной среде, а значит и указанием на повышение политического престижа нации. Следует учесть и необыкновенно высокий семиотический статус архитектуры того времени в культуре Балкан: официальная идеология стремилась непосредственно воплотиться в коде архитектурных стилизаций, а архитектурная форма в свою очередь чутко реагировала на движение общественной мысли.

Обращение к теме национальной старины приобрело характер буквального, почти музейно-достоверного цитирования памятников средневековья в Сербии и Болгарии. Так, сербская церковь св. Георгия в Смедереве (1854, арх. А. Дамянов) явилась почти точным воспроизведением храма св. Троицы монастыря в Манасии (1407—1418). В Софии в архитектуре общественных зданий конца XIX — начала XX в. — в здании Минеральных бань, Рынка, Синодальной палаты — механически проци-

тированы декоративные фрагменты кладки, изразцовых инкрустаций, типа орнамента, характерных для храмового зодчества Месемврии. Более сложные, диалогические отношения с прототипом установились в стилизациях на национальные темы в творчестве румынского архитектора Й. Минку и его школы. Здесь возник обобщенный образ старины, предвосхищающий принципы эстетики «модерна» и типологически близкий работам русских мастеров «абрамцевского кружка». В Греции «неовизантийский» стиль также занимал важное место среди других направлений архитектуры второй половины прошлого века и проявился, главным образом, в архитектуре реставрированных русскими зодчими православных храмов. Однако генеральное русло собственно национальных стилизаций здесь опиралось на античные образцы и тем самым приобретало облик неоклассицизма, т. е. носило характер более органичного усвоения исторических форм, что для эпохи эклектики в целом было не очень характерно.

Однако при всех различиях в воплощении национальной темы в архитектуре Балкан доминировала общая установка — установка на цитирование — от частичных заимствований стиля до полной мистификации современников посредством воспроизведения исторического прототипа. Возникла ситуация замещения или точнее — наложения текстов. В результате установки на цитирование пространственный и временной модуль стилизаций оказались в соотношении друг с другом по принципу зеркальной симметрии.

Пространственный модус — это отношение к Европе. Семантические обращения стиля, с которыми в балканском сознании было связано начало профессионализма, вхождение в мир новоевропейской культуры, самими европейцами переживалось как закат цивилизации, как знак исчерпанности и безнадежной секуляризованности культуры (в этом отношении эклектику можно уподобить образу Вавилонского храма), мечущейся в тесных простенках механического перебора клишированных форм. Временной модус — это вертикальная направленность пристального взгляда в собственное прошлое. Установка на восхождение Золотого века, в котором происходила самореализация национального духа, предполагало, что современность как бы лишалась статуса реальности и оказывалась целиком опрокинутой в историю, а история верховодила ею на правах актуального политического мифа. Возникает перекрестное взаимодействие оппозиций, где каждый член одновременно противопоставлен и тождествен друг другу: оппозиции «свое / чужое», «настоящее / прошлое», «реальной / мифологизированное» сохраняют универсальные характеристики «свое = хорошее», «чужое = плохое». Однако в этом же оценочном плане над ними надстраивается оппозиция «престижный / непрестижный», которая приводит весь конгломерат оппозиций в движение и обуславливает сложные отношения, конечная цель которых может быть определена следующим образом: непрестижное «свое» должно стать престижным, черная из престижного «чужого». Чтобы «свое» стало престижным (и тем самым получило знак «плюс»), оно должно отразиться в зеркале такого «чужого», которое тождественно «своему мифологизированному прошлому». При этом «свое», тождественное реальному и настоящему (современному), теряет престижность (знак «минус»), и потому настоящее (современность) становится как бы «неактуальным» (в значении «прошлым») и мифологизированным (в значении «утратившим статус реальности»).

Если в европейской архитектуре происходит движение от пластики к концепту, на Балканах, наоборот, происходит порождение пластики из европейского концепта. Таким образом, контекст европейской культуры и национальная традиция оказываются в ситуации иератического противостояния противопоставлений с постоянным взаимным замещением: свой-чужой, настоящее-прошлое, реальное-мифологизированное. Для рационализма XIX в. ситуация весьма парадоксальная.

Впрочем, известная парадоксальность свойственна всей эстетической системе эклектики. Взаимная несоотнесенность планировки внутреннего

пространства зданий и декоративной системы фасада, полистилизм и иерархическая упорядоченность ордера, установка на музейную достоверность воспроизведения древнего образца и внеисторичность механического соединения цитируемых фрагментов, наконец, сам принцип умозрительной художественности, подразумевающий доминирование концепта стиля над пластикой конкретного произведения, а потому — словно опирающийся на некий вербальный комментирующий подтекст как условие единства визуального целого — все эти свойства архитектурной эклектики указывают на то, что тенденция к постоянному замещению знаков эстетического поля, в известной мере свойственная всему европейскому неоромантизму, является здесь правилом. В этом отношении балканские мастера выступают верными адептами общеевропейской устремленности архитектурной мысли. Вместе с тем, смысл операции замещения на Балканах обнаруживает глубинные связи именно с ареальным менталитетом, свойственным ему мифопоэтическим миропониманием, что проявляется на всех уровнях организации смысло-образа.

Так, замещение (наложение) происходит на уровне отношения «орнаментальная деталь — общая система декора фасада». Фрагмент орнамента, перенесенный с древнего памятника в новый контекст декора, утрачивает свою пластическую уникальность, превращаясь в разновидность индекса стиля. При этом значением умозрительного метапластицизма наделяется общая система декорированной поверхности. Принцип замещения (наложения) проявляет себя и на уровне отношения «декоративная система фасада — конструкция». Если в европейской архитектуре «историзма» однозначно доминирует первый элемент и тем самым исчерпывается содержание эстетического переживания, на Балканах в контексте идеологии, разворачивающей время вспять (согласно мифу о Золотом веке), декоративное оформление фасада — в восприятии современников — выказывало такого рода независимость от внутренней планировки, которая была преимущественно ориентирована на характеристику контекста культуры (обращенности к европейским моделям архитектурного мышления): он и являлся объектом изображения, т. е. фон парадоксальным образом оказывался в фокусе зрения. Возникало смещение акцентов: «текст» балканских стилизаций реализовывал себя как бы в негативе по отношению к контексту европейской современности.

Наконец, наложение смыслов происходило на уровне отношения «стиль — стилизация»: первичность древнего прототипа мыслится символически, а потому текст стилизации и его стилеобразующий фон выступают как некая вторичность по отношению к внетекстовой (внеэстетической, внеисторической, внеидеологической) реальности Символа. Здесь негация зримого за счет актуализации мыслимого выявляется уже в универсалистских, гиперструктурных масштабах.

Во всех трансформациях стиля доминирует общий принцип: текст приобретает вторичность по отношению к контексту, контекст — по отношению к внетекстовой реальности. «Национальный» стиль выступает в качестве фетиша — т. е. части, по которой восстанавливается целое древней культуры. Связь с мифопоэтическим типом сознания здесь очевидна: целое и часть как единое, зеркальное противопоставление пространственного и временного модусов, реальность как доказательство магической значимости стиля-вещи.

Подобный тип мышления восходит к архаическим, в частности, мистериальным традициям балканской культуры. Схема взаимного наложения членов оппозиции соответствует высокой значимости в балканском фольклоре заместительных формул. Зеркальная симметрия центральных категорий универсальной космологии (пространства и времени) есть противопоставленность верхнего и нижнего миров. Обращение к темам национальной истории в условиях господства идеологии национального мифа наполняется значением ритуального действия. Произведения национального стиля на Балканах в качестве текста-акции содержат в себе указание на скрытый внеумопостижимый смысло-образ, восходящий к традициям мистерий: традицию откровений в незавершенности, ориентацию на от-

крытость эстетического ряда. Эти свойства во многом определили и своеобразие балканского менталитета в целом.

Архаизирующие пласты художественного сознания балканских зодчих прошлого века становятся особенно заметными благодаря слабой дифференцированности «книжного» и «низового» уровней культуры в условиях смены культурной парадигмы, т. е. переходный период от поствизантийского канона к постренессансной эстетике нового времени. Переломный период встречи «концов» и «начал» в архитектуре «национального» стиля на Балканах с особой силой обнажает глубинные основания мифопоэтического мышления. Не столько в факте обращения к теме, продиктованной императивом политического момента, не в готовности идентифицировать континуитет судеб своей культуры, а в проявившихся в процессе реализации этой сознательной установки глубинных структурах мышления обнаруживается естественная преемственность художественного видения балканских мастеров нового времени с региональной традицией.

*ЗЛЫДИГВА Н. В., канд. искусствоведения,
научн. сотрудник ИСБ*



НЕВСКАЯ Т. В.

СТАНИСЛАВ ПАВЛОВИЧ МИКУЦКИЙ: ВКЛАД В СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

В нынешнем году исполняется 175 лет со дня рождения, — а в 1990 г исполнится 100 лет со дня смерти, — филолога-компаративиста, лексиколога и этимолога Станислава Павловича Микуцкого.

С. П. Микуцкий родился в Белостокской области в 1814 г., рос в крестьянской семье; окончил уездное училище, через некоторое время получил свидетельство учителя и жил частными уроками. Не имея средств на более систематическое образование, Микуцкий самостоятельно изучал древние и новые языки и готовился к поступлению в Московский университет, куда и был зачислен в 1847 г. в качестве стипендиата на историко-филологический факультет [1]. С 1847 г. имя Микуцкого становится известным в академической филологической среде: Микуцкий готовит ряд работ по сравнительному славянскому языкознанию и посылает их на отзыв видным лингвистам (в том числе и выдающемуся чешскому лингвисту П. Й. Шафарику). По свидетельству И. И. Срезневского, Микуцкому удалось «приобрести себе уважение за счастливые сравнения слов и грамматических форм разных языков индоевропейского происхождения. Мнение о нем Шафарика известно из журналов; столь же уважительное мнение Востокова известно членам Отделения из его отзывов, сообщенных Отделению по поводу филологических заметок, доставленных в Академию Микуцким» [2]. В 1851 г., по окончании университета, Микуцкий был оставлен для подготовки на степень магистра и в качестве кандидата командирован в Белоруссию и Литву для сбора словарных и этнографических материалов. Уже в 1852 г. в адрес Отделения русского языка и словесности Академии наук от Микуцкого начали поступать письма-отчеты о работе по составлению белорусского и сравнительного литовско-русского словарей; кроме составления словарей Микуцкий намеривался изучать местный фольклор, фамилии, слова детской речи и топонимы [3]. С 1853 г. «Отчеты кандидата С. П. Микуцкого» регулярно появляются в «Известиях ОРЯС». «Отчеты» упрочили известность ученого как одного из лучших знатоков литовского языка; еще до командировки в Литву Микуцкий выступал в печати с критическими замечаниями по поводу «Словаря литовского языка» Нессельмана, причем сделал множество исправлений и дополнений [4]. Путешествуя по Литве, Микуцкий собрал более тысячи слов, отсутствовавших в словаре Нессельмана, и уточнил значение имеющихся, записал множество песен, пословиц, загадок и сказок; изучал он и древние рукописные и печатные памятники. Значителен вклад Микуцкого и в белорусскую лексикографию, им записано более тысячи слов [5; 6], частично опубликованных в «Материалах для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики»

Невская Татьяна Владимировна — ст. лаб. Института языкознания АН СССР.

[7]¹. За труды по изучению литовского и славянских языков Московский университет удостоил С. П. Микуцкого почетного диплома на звание доктора сравнительного языковедения. Эта сторона научной деятельности Микуцкого заслужила высокую оценку со стороны ученых последующих поколений [9—12].

Однако С. П. Микуцкий не ограничивался ролью лексикографа, его научные интересы лежали в области сравнительного индоевропейского языковедения, а также в области, выражаясь современным языком, изучения дальнего родства языковых семей. По мысли Микуцкого, языковедение как точная наука (эту особенность ученый подчеркивал особо [13]) способно раскрыть и уяснить исследователю доисторический быт и постепенное развития человечества; цель и задача сравнительного языковедения состоит, по Микуцкому, в следующем: 1) обследовать корни в их первоначальной форме и проследить изменения их формы и значения; 2) разделить корни на разряды, например, «корни звука, движения, света и проч., т. е. проследить движение человеческой мысли» и 3) доказать исконное родство всех семейств «Иафетова племени», т. е. «армянского, иберского, чудского, турецкого и арийского» [13, с. 1—2; 8, с. 1; 14]. Следует отдать должное постоянству ученого — этими целями он руководствовался на протяжении всей своей научной деятельности. В многочисленных исследованиях [14—23], выходявших отдельными изданиями и в журналах (в основном в воронежских «Филологических записках» и «Варшавских университетских известиях»), Микуцким опубликована масса этимологических сопоставлений славянской лексики с лексикой индоевропейских, а также неиндоевропейских языков. Не удивительно, что подобная методическая установка, неприемлемая для тогдашней индоевропеистики, создала Микуцкому репутацию человека, «не получившего достаточной научной подготовки» [9], и привела в итоге к тому, что труды С. П. Микуцкого оказались на периферии славистических исследований. Немногочисленные критики Микуцкого, — а по свидетельству современника ученый часто сетовал на то, что в научной печати он не находит возражений на свои сочинения [9], — не только отмечали недостатки этимологического метода, пристрастие Микуцкого к корневой этимологии, но и выражали неприятие теории дальнего родства в целом (см., например, рецензии И. В. Ягича на [21] в [24; 25]). Таким образом в славянской этимологии установилась традиция, игнорирующая научное наследие Микуцкого, проявлением чего может служить случайный характер отсылок к его трудам.

В славянской этимологической литературе от Миклошича до современных словарей встречаются ссылки на этимологию Микуцкого, ср., например, глухие ссылки в [26]: «*сѣпа...* лит. *kaina*. Микуцкий» [26, S. 28]; «*kadelbū...* рус. *калдыба* из *кадолба*. Микуцкий» [26, S. 108] или отсылки к «Отчетам» Микуцкого в [27]; однако подобные примеры введения в научный обиход верных этимологий Микуцкого единичны. Исследованиями этого ученого не пользовались систематически даже его младшие современники: так, если А. С. Будилович в своей достаточно популярной среди славистов той эпохи книге [28] ссылается на этимологии Микуцкого (в частности, на общепринятую ныне этимологию рус. *жаворонок*, то уже у Н. Горяева [29] нет ссылок на правильные этимологии Микуцкого (на что автору словаря было указано рецензентом И. К. Ливдеманом [30]).

Непопулярность этимологий Микуцкого в определенной степени вызвана, вероятно, способом подачи материала, затруднявшим оценку собственно балто-славянской части исследований. Традиционная структура работ Микуцкого представляет собой список «первообразных» корней (корней звука, движения и т. д.), каждый из которых сопровождается

¹ В течение многих лет С. П. Микуцкий пополнял собранный им лексический материал, записывая не только литовские и белорусские, но и русские диалектные слова; в связи с этим интересно следующее свидетельство ученого: «...Я сообщил В. И. Далю несколько тысяч слов. Если буду жив и здоров, я буду делать дополнения и к новому изданию Далева словаря» [8, с. 7].

внушительным списком дериватов, причем формы, взятые из различных языков «Иафетова племени», приводятся, как правило, без пояснений и ссылок, — а это означает, что, вычленив из общей массы правомерные сближения, необходимо удостоверить авторство Микуцкого и засвидетельствовать отсутствие данных этимологий в иных словарях².

Как этимолог-славист Микуцкий во многом опередил свое время; дарование ученого и его филологическая подготовка определили некоторые особенности этимологического метода, характерные скорее для современной славянской этимологии — поиск внутриславянских и балтославянских соответствий, широкое привлечение к сравнению диалектной лексики, проработанность семантического аспекта этимологизации. Мы надеемся, что настоящая публикация поможет созданию более полного представления об одном из первых этимологов-славистов, а также восстановит приоритет С. П. Микуцкого на некоторые этимологические решения, принятые современной наукой. Ниже приводятся извлечения из работ Микуцкого³.

Русск. *дрябнуть*, *дряблый*. Лит. *dribti*, *dribù* 'течь, падать' о чем-либо вязком, 'бросать что-либо вязкое', *dribóti* 'висеть' о чем-либо вязком, *drebėti* 'дрожать' [18, с. 70], см. [27, вып. 5, с. 112] со ссылкой на С. Микуцкого.

Слав. **kyvati*, **kyti*, **kymati*: с.-хорв. *klimati* (*l* вставное), *kujati*, *kinjati* 'кивать', 'дремать', русск. диал. (ю.-рус.) *кунять* 'дремать', *сидить и все куняе*. «Считаю уместным привести в подтверждение русск. диал. *чанаться* 'шататься, сидя дремать' [36], см. [27, вып. 13, с. 106—107] со ссылкой на С. Микуцкого.

Ст.-слав. БЛИЗЬ, БЛИЗЪ, русск. *близкий*, *близко*; лтш. *blaizti* 'давить, жать, теснить'. От понятия 'давить, жать, теснить', собственно, 'силою сдвигать, сближать предметы' естественный переход к понятию 'близко, близкий'. Подобный переход понятий находим в греч. ἄγγι, ἐγγύς от ἄγγω, лат. *angopremo* 'тесню, жму, давлю' [37], см. [38, т. I, с. 174] со ссылкой на С. Микуцкого.

Русск. *срам* вместо *сором*, собственно, 'неприятное нравственное ощущение'; лит *šarmà* 'иней, изморозь' [18, с. 26]. В другом месте Микуцкий эксплицирует семантический переход 'неприятное физическое ощущение, холод' → 'неприятное нравственное ощущение' [18, с. 5—6]. Этим примером открывается список неизвестных этимологий Микуцкого. До 1958 г. словом *срам* оставалось без этимологии, затем сближение Микуцкого повторил Б. А. Ларин (см. [39]), и таким образом оно стало достоянием этимологической справочной литературы.

В 1950-х годах была вновь принята теория о протетическом *g-* в словах типа слав. **gъзь*, **gъsenica*, см. [38, т. 1, с. 471] и [40], ср. в «Филологических наблюдениях» Микуцкого: «польск. *gązwa* 'связка, ligamen'; русск. *гуж*, первоначально **gъзь*. Буквы *v-* и *g-* приставочные; приводим для примера два—три слова: польск. *gąsienica*, *wąsienica* 'гусеница' от *ус*, первоначально **oъсь*. Слова *уж* и *гуж* в сущности тождественны» [18, с. 62].

Диалектное русское *сикляха* 'муравей', в 1870 г. объясненное Микуцким как производное от *сикать* 'мочиться' [18, с. 84], сто лет спустя вызвало дискуссию, итог которой подвел О. Н. Трубачев: «Диалектное *сикляха* 'муравей' вовсе не обязательно объяснять из балтийского; ср. лтш. *siks*, *sikulis* 'маленький, мелкий, существо маленького роста' [41].

² Отсутствие критического аппарата в работах Микуцкого также, вероятно, повлияло на создание репутации Микуцкого как человека, не получившего достаточной научной подготовки (см. выше). Однако Микуцкий был хорошо знаком с достижениями современной ему лингвистической науки, о чем свидетельствуют, помимо редких ссылок, многочисленные дословные совпадения сопоставлений Микуцкого (в основном традиционных, базовых для сравнительного славяноведения этимологий) со сближениями из словарей Потта, Рейфа, Шимкевича, Миклошича и Фика (см. [31—35]).

³ Нами внесены некоторые незначительные изменения в орфографию текстов С. П. Микуцкого, уточнены обозначения языков и диалектов; формы, реконструированные Микуцким, приводятся под звездочкой.

Это слово неплохо объясняется из русского же словарного материала, будучи производным от глагола *сикать*; муравей назван так за способность выпускать муравьиную кислоту. Экспрессивность названия видна и по способу словообразования» [38, т. IV, с. 856].

Укр. *пимуха* вместо *примуха* 'причуды, прихоть'; польск. *muchy w nosie* 'причуды, химера' [21, вып. I, с. 37], ср. [42], где, в частности, анализируются славянские фразеологизмы типа «мухи в голове», «мухи в носу». На наш взгляд, это этимологическое наблюдение над словом, которое вне славянского фразеологического контекста несомненно показалось бы этимологически темным, лишний раз демонстрирует уверенное владение славянской лексикой, присущее Микуцкому.

Лит. *krūšti* 'толочь, раздроблять', откуда лит. *kriūšė*, болг. *кpуша*, с.-хорв. диал. *krūšva* 'груша' [19, с. 34]. Отметим, что это интересное слово, южнославянское название груши, получило истолкование лишь в недавнее время [27, вып. 7, с. 155—157, вып. 13, с. 47].

Русск. *горох*; лит. *garšvā* 'снуть'; др.-инд. *ghārsati* 'тереть' [19, с. 34], ср. [27, вып. 7, с. 45].

Ст.-слав. ЗЪДАТЬ, -ЗИДАТЬ вместо *duzati*; лит. *đigti, đigstu* 'пускать ростки', *žičsti, žiedžiū* 'формовать, лепить'; др.-инд. *dih-, dēhmi* 'обмазываю', лат. *tingo* 'мажу, мешаю, формую'; гот. *deiga* 'мешу, мну' [18, с. 12], ср. [38, т. II, с. 89].

Русск. диал. *скорода* 'борона'; лит. *skėřsti* (корень *kerd-*) 'колоть, резать', *skardyti* 'крупно молоть, обдирать шелуху', [18, с. 53], ср. [38, т. III, с. 652].

Русск. *прячь*, первоначально **prego, *pregti* 'напрягать, натягивать'; лит. *sprīngti* 'душиться, давиться, подавиться', *springūti* 'душить, давить' [18, с. 76], ср. [38, т. III, с. 393].

Русск. *скорый*; лит. *skėrỹs* 'саранча'; греч *σχιρω* 'прыгаю, скачу, пляшу' [18, с. 28], ср. [38, т. III, с. 654].

Русск. диал. *каверзатъ*, *коверзитъ* 'делать кое-как', *каверза* 'крючки, крючковторство'; болг. *вързам* 'вяжу, связываю', — *ка-/ко-* — приставка [19, с. 8], ср. [27, вып. 9, с. 167—168].

Ст.-слав. КОБЪ 'встреча, предзнаменование', русск. *каба, коба, кобел, кобл, коблюх* 'кол, вбитый в землю, пень для причалки судна', *скоба, хобот*. Польск. *kobieta, kobiel, kobialka* 'род лукошка, сума'; лит. *kibti, kimbū* 'цепляться, липнуть, виснуть', *kibėti, kibėti* 'висеть, болтаться', *kabā* 'крюк', *kabinti* 'цеплять, вешать' [18, с. 10—11], ср. [27, вып. 10, с. 88—91, 101—103].

Русск. *черемша, черемица* 'дикий чеснок'; лит. *kermūšis, kermūšė* 'дикий чеснок', 'перо у бурава', *krīmsti, kremtū* 'грызть, глодать'; греч. *κρίμινον* вместо *κρίμινον* 'лук' [19, с. 35], ср. [27, вып. 4, с. 67].

Русск. *смотреть*; лит. *matyti* 'видеть'; лтш. *mast* 'чуют', *matīt* 'узнавать, чувствовать' [18, с. 84], ср. [38, т. III, с. 692].

Ст.-слав. ВИТАТИ 'обитать'; лит. *vietà* 'место' [18, с. 99], ср. [38, т. I, с. 321; 43].

Русск. диал. *жень* 'лазиво', 'веревка у бортников'; лтш. *dzenis*, первоначально **genis* 'веревка' [18, с. 62], ср. [38, т. II, с. 47].

Русск. *черес, чересло* 'пояс, пояс кошелем', *чресла, чересла* 'место, по которому люди опоясываются', предлог *чрез, через*, диал. *керез, перез*; др.-прусс. *kirscha* 'через' [18, с. 6], ср. [27, вып. 4, с. 76—77; 44].

Русск. *лягва, лягуха, лягушка*, диал. *лягаться* 'качаться, колыхаться, вихляться'; лит. *laigyti* 'прыгать, скакать, играть, резвиться', *lingoti* 'качаться, колыхаться'; лтш. *ligot* 'ликовать, радоваться, играть, резвиться, качать, колыхать' [19, с. 3], ср. [38, т. II, с. 548; 45].

Русск. *ремень*, собственно, *ligamen*, чем что-либо связывается; греч. *ἀραρίσσω* 'связываю, прилаживаю' [18, с. 95], ср. [38, т. III, с. 468].

Русск. *уда*, первоначально **oda, *an-dha*, состоит из приставки *an-* 'в, in' и корня *dha*, обозначающая вдеваемое, вонзаемое [18, с. 74], ср. [38, т. IV, с. 148].

В свете современных исследований в области славянской мифологической лексики интересно следующее объяснение Микуцким имени *Велес*

Волос: «Души усопших предков-родителей считались покровителями рода-племени, потому лит. *vėlė* 'душа усопшего', лтш. *veļi* 'души усопших', собственно, 'покровители', от корня *var-*, *val-* 'крыть, закрывать, защищать, охранять', откуда старинное *Velēs* или *Волос*, скотий бог, собственно, 'покровитель'» [19, с. 43], ср. обоснование связи *Velēs/Волос* с балтийскими лексемами на новом уровне в [46]⁴.

Таковы некоторые из этимологических сопоставлений славянской лексики, принадлежащие С. П. Микуцкому и ныне принятые в славянской этимологии, — как нам кажется, они говорят сами за себя. История славянской этимологии еще не написана, но, на наш взгляд, не будет преувеличением сказать, что имя С. П. Микуцкого, интересного этимолога и первого исследователя балто-славянских лексических связей, займет в ней достойное место.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Смирнов Л. Н.* Микуцкий Станислав Павлович. — В кн.: Славяноведение в до-революционной России. Библиографический словарь. М., 1979, с. 235—236.
2. *Срезневский И. И.* Записка о «Материалах для сравнения языков немецкого и славянского» С. Микуцкого. — Известия ОРЯС, т. I, 1852, с. 77.
3. Из письма к редактору С. П. Микуцкого. — Известия ОРЯС, т. II, 1853, с. 31—32.
4. Записка С. П. Микуцкого. — Известия ОРЯС, т. I, 1852, с. 107—115.
5. Четвертый отчет кандидата Ст. Микуцкого. — Известия ОРЯС, т. III, 1854, с. 365—368.
6. Пятый отчет кандидата Ст. Микуцкого. — Известия ОРЯС, т. IV, 1855, с. 47—48.
7. Белорусские слова. Сборник С. П. Микуцкого. — Известия ОРЯС, т. III, 1854, прибавления, с. 176—192.
8. *Микуцкий С. П.* Несколько слов по поводу сочинения А. С. Будиловича «Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным». — Варшавские университетские известия, 1879, № 1.
9. Речь проф. Г. К. Ульянова. — Варшавский дневник, 29 августа / 10 сентября 1890 г., № 188.
10. *Янчук Н. С. П. Микуцкий.* — Этнографическое обозрение, 1890, № 4, с. 166.
11. *Ягич И. В.* История славянской филологии. СПб., 1910, с. 776.
12. *Paltonis J.* Rusų kalbininkų indėlis į liuanistiką. Kaunas, 1963. p. 74.
13. *Микуцкий С. П.* Вступительная лекция по сравнительному языкознанию. — Варшавские университетские известия, 1876, № 1.
14. *Микуцкий С. П.* Замечания на сочинение Ф. Миклошича «Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen». Варшава, 1887, с. 1.
15. *Микуцкий С. П.* Филологические наблюдения. Сравнение корней и слов санскритских со славянскими. СПб., 1852.
16. *Микуцкий С. П.* Сравнение слов славянских с немецкими. СПб., 1852.
17. *Микуцкий С.* Наблюдения и замечания о лето-славянском языке сравнительно с прочими арийскими языками. СПб., 1867.
18. *Микуцкий Ст.* Филологические наблюдения, заметки и выводы по сравнительному языкознанию. Воронеж, 1869.
19. *Микуцкий С. П.* Наблюдения и выводы по сравнительному арийскому языкознанию. Варшава, 1874.
20. *Микуцкий С. П.* Материалы для сако-арийского корнеслова. Варшава, 1875.
21. *Микуцкий Ст.* Материалы для корневого и объяснительного словаря русского языка и всех славянских наречий. Вып. I—III. Варшава, 1880—1882.
22. *Микуцкий Ст.* Историко-лингвистические заметки. Варшава, 1885.
23. *Микуцкий Ст.* Наблюдения и выводы по сравнительному языкознанию. Вып. I—II. Варшава, 1888—1890.
24. *Archiv für slavische Philologie*, V, 1880, S. 470—472.
25. *Archiv für slavische Philologie*, VI, 1882, S. 624—625.
26. *Miklosich F.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
27. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1—. М., 1974—.
28. *Будилович А. С.* Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. Исследования в области лингвистической палеонтологии славян. Ч. I. Киев, 1878, с. 167.
29. *Горяев Н. В.* Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифлис, 1896.
30. Филологические записки, 1897, вып. 2, с. 10.
31. *Pott A. F.* Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen

⁴ Примеры взяты в основном из двух работ С. П. Микуцкого [18; 19], так как в последующих статьях и книгах ученого данные сопоставления повторяются с теми или иными дополнениями.

- Sprachen insbesondere des Sanskrit, Griechischen, Lateinischen, Litauischen und Gotischen. I—II. Lemgo, 1833—1836.
32. Рейф Ф. И. Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению, или Этимологический лексикон русского языка. I—II. СПб., 1835—1836.
 33. Шимкевич Ф. С. Корнеслов русского языка, сравненного со всеми главнейшими славянскими наречиями и с 24 иностранными языками. Спб., 1842.
 34. Miklosich F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1861.
 35. Fick A. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Göttingen, 1868.
 36. Седьмой отчет кандидата Ст. Микуцкого.— Известия ОРЯС, т. IV, 1855, с. 407.
 37. Микуцкий С. П. Этимология «близь, близоу».— Русский филологический вестник, т. XXII, 1889, с. 291.
 38. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. Изд. 2-е. М., 1986—1987.
 39. Ларин Б. А. Из славяно-балтийских лексических сопоставлений.— Вестник ЛГУ, 1958, № 14, вып. 3, с. 150.
 40. Jakobson R. While Reading Vasmer's Dictionary.— Word, XI, 1955, № 4, p. 8.
 41. Лаучюте Ю. А. Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982, с. 131.
 42. Терновская О. А. Ведовство у славян. II. Бзык (мухи в голове).— В кн.: Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984.
 43. Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg—Göttingen, 1955—1965, S. 1246.
 44. Топоров В. Н. Прусский язык. Словарь. К—L. М., 1984, с. 22—23.
 45. Топоров В. Н. Из индоевропейской этимологии. III.— В кн.: Этимология. 1982. М., 1985, с. 132.
 46. Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974, с. 66—71.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Архитектурното наследство на България. Под общ. ред. на Стамов С. София, 1988, 385 с., ил.

Возрождение республики, 1938—1945: Руководящая роль КП Чехословакии в нац.-освобод. борьбе/ Боучек М. (руководитель), Чейка Э., Данаш Й. и др.; Пер. с чеш. Азанчеевой Р. А., Поповой М. И. М., 1988, 416 с.

Газизова Р. Ф. Сложные слова и исходные словосочетания с глагольным компонентом в русском и сербохорватском языках. Саратов, 1989, 173 с.

Диневос П. Н. По следите на българската литература и наука. София, 1988, 295 с.

Добрев Ч. Литература и критика. София, 1988, 241 с.

Искусство социалистических стран Европы: проблема героя / Отв. ред. Федорук А. К., АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского. Киев, 1988, 197 с.

Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки / Отв. ред. Жуковская Л. П.; АН СССР. 2-изд., перераб. и доп. М., 1988, 191 с., ил., факс.

Карастойчева Ц. Български младежки говор: Източници, словообразуване. София, 1988, 161 с.

Кирова Л. Сходни процеси и явления в литературите на балканските славяни. София, 1988, 223 с.

Китевски М. Фолклорни бисери. Скопје, 1988, 277 с.

Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения / Отв. ред. Злыднев В. И.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. М., 1988, 303 с., 16 д. ил.

Маташов Х. Л., Мизнева Р. А. От Галиполи до Лепанто: Балканите, Европа и османското нашествие, 1354—1571 г. София, 1988, 357 с., 12 л. ил.

Международные отношения на Балканах и Ближнем Востоке: Сб. науч. тр./ Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Свердловск, 1988, 161 с.

Николова Ц. Честотен речник на българската разговорна реч. София, 1987, 237 с.

Общеславянский лингвистический атлас: Сер. лексико-словообразовательная / Отв. ред. Иванов В. В.; Междунар. ком. славистов. Комис. общеслав. лингв. атласа, АН СССР. Ин-т рус. яз. М., 1988. Вып. 1. Животный мир. 188 с.



МУРЬЯНОВ М. Ф.

НЕСКОЛЬКО УТОЧНЕНИЙ К «СЛОВАРЮ ЯЗЫКА СКОРИНЫ»

Исследование языка Франциска Скорины — актуальная тема славяноведения, над ней трудятся филологи [1]. Их настольной книгой стал разработанный В. В. Аниченко «Словарь языка Скорины» под редакцией академика В. И. Борковского [2]; книги Скорины занимают почетное место в ряду источников академического «Исторического словаря белорусского языка» [3]. Достижения есть [4], их предстоит развивать. Научный редактор «Словаря языка Скорины» скромно полагал, что этот труд «дапамога глыбей зразумець тэксты», изданные великим белорусским просветителем [5]. «Исторический словарь белорусского языка» это углубление продолжает, устраняя недочеты «Словаря языка Скорины». Так, если в последнем имеется словарная статья на слово ГОДОЛИЯ, определением которого служит вопросительный знак, то «Исторический словарь белорусского языка» снял не только вопросительный знак, но и само слово, попавшее в «Словарь языка Скорины» по недоразумению — оно является личным мужским именем (4 Цар 25, 22), а имена собственные в оба «Словаря» не включаются по условиям задачи.

Работу по снятию вопросов, оставшихся нерешенными в «Словаре языка Скорины», нужно продолжить, помогая тем самым готовящимся выпускам «Исторического словаря белорусского языка». Это и является темой нижеприведенных заметок, относящихся ко второму тому «Словаря языка Скорины».

1. «РАСПАЦ м.» [4, с. 164]. В 18—19 главах IV Книги Царств некое высокое лицо ассирийской гражданской администрации времен царя Сенахериба называется Rabsaces (Вульгата) или Ραφακης (Септуагинта), откуда метатезой ps > sp получился *Распаць*. «Такие титулы иногда трактуются как имена собственные» [6].

2. «РУЙНОСТЬ ж. Реўнасць?» [4, с. 191]. Гапакс, находящийся в 26 главе Книги Иисуса сына Сирахова (Бен Сиры). В эпоху Скорины основополагающий древнееврейский текст Бен Сиры известен не был, он и сейчас является проблемным [7]. Септуагинта, Вульгата и русская традиция дают разную нумерацию интересующего нас стиха:

Πορνεία γυναικός ἐν μετεωρισμοῖς ὀφθαλμῶν
καὶ ἐν τοῖς βλεφάροις αὐτῆς γνωσθήσεται (26,9),
Fornicatio mulieris in extollentia oculorum
et in palpebris illius agnoscetur (26, 12).

Русский синодальный перевод «Наклонность женщины к блуду узнается по поднятию глаз и век ее» (26, 11) неправилен даже с точки зрения формально грамматической, не о поднятии век говорилось у древних,

Мурьянов Михаил Федорович — д-р филол. наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы АН СССР.

а о веках как таковых, безотносительно к их движению или неподвижности. Подразумевались косметические ухищрения по разрисовке век, в этом искусстве ближневосточная культура достигла высокого уровня уже в глубокой древности¹. Пожалуй, самым красноречивым свидетельством этого является в самой Библии личное имя младшей дочери многострадального Иова. Святой праведник назвал ее именем Керенгапхух (древнееврейское *qeregaen harruk*, буквально «коробочка для глазной косметики» [9]). «И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова» (Иов 42, 15). Здесь контекст вполне благожелателен к идее косметики, но в целом библейские авторы видели двоякую природу этого художественного явления, способного вызывать и далеко не целомудренное восхищение женщиной (Притч 6, 25).

Считается, что Скорина, формируя свой библейский текст, исходил в основном из текста чешской Библии венецианского издания (1506) [10]. Нам для сравнений доступна чешская первопечатная Библия — инкунабул 1488 г. Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, где соответствующий стих читается так:

Smilnost zeny na wyzdwizeni oczij,
a na woboczij jejich poznana bude [11].

У Скорины это обрело следующий вид:

*Бладѣливость женъскаА на въздвигнени очю еА,
и руйность ее на обочю еА познана бываетъ [12].*

Как видим, неясное слово *руйность* во всех предшествующих Скорине языковых ипостасях библейского стиха, в том числе и в древнейшем славянском свидетельстве — цитате в киевском Изборнике 1073 г. (блоудъ женскъ въ възирании очьнѣмъ и въ вѣждахъ ꙗко познана боудеть [13]) ничему не соответствует, оно является собственным скорининским приращением текста и не может быть интерпретировано средствами библейской филологии.

Чтобы спасти догадку «Словаря языка Скорины», по которой оно может иметь значение «ревность», придется вспомнить, что сама *ревность* иногда этимологизируется как производное от *реву* (инфинитив — *рютѣ*, впоследствии *реветь*) — о животных во время течки, календарный срок которой по выразительным древнерусским названиям месяцев приходится на заревь «август» и рюжень «сентябрь»; сюда же относится *рювитися* «сойти» [14]. В этом случае *руйность* имеет значение «половая опытность». Но не менее вероятно, что Скориной подразумевалась просто «разрушенность» и *руйность* производно от латинского *ruina* «руина, развалина», в образном применении к состоянию здоровья.

Смысл белорусского добавления в библейский текст становится ясным: к мыслям древнего моралиста Бен Сиры — между прочим, уважительно относившегося в искусству врачевания (Сирах 38, 1—15) [15] — добавилось зоркое наблюдение диагноста, доктора медицины Падуанского университета Франциска Скорины. Оно единым словом выразило трагизм женской судьбы, часто за немногие годы превращавшей юных красавиц в гинекологически искалеченных старух, это проявлялось прежде всего по тому, что у женщины творилось вокруг глаз, *на обочю*. Здесь нельзя не выразить сожаление, что «Словарь русского языка XI—XVII вв.» толкует слово *обочие* только как «висок, глазную впадину» [16], не учитывая обобщенное значение «место вокруг очей», подразумеваемое Скориной, чьи книги предназначались для Руси и были написаны языком, понятным на Руси, во всяком случае в ее западных областях.

¹ Ср. описание убранства богини Иштар в аккадской версии «Путешествия Иштар в подземное царство»: «Она взяла парик для своего чела... Ожерелье из маленьких камней лазурита повесила она вокруг шеи. Двойные жемчужины положила она на грудь, золотой браслет надела на руку. Украшение, именуемое „Мужчина, приди, приди!“ она навесила на свои перси... Косметику, именуемую „Мужчина должен прийти, должен прийти“ она наложила вокруг своих очей» [8].

3. «СЕДИВЕЦ м. Засядацель?» [4, с. 203]. Очевидно, что лексикограф склонен считать непонятное слово родственным с такими словами как *сидеть*, *седалище*. Но первоисточник — библейский текст Сирах 25,6 на всех языках недвусмысленно говорит о людях в возрасте *седины*, которым подобает вершить суд.

4. «СКЕРИТИСЯ. Сагнуцца, скурчыцца?» [4, с. 211]. Контекст любопытен как один из немногих образчиков ветхозаветного юмора [17]: Давид, попавший в руки врагов, притворился безумным и поэтому был отпущен. В изложении Скорины, он *прекривилъ собѣ ѡста предѣ Ахисомѣ, и скерилса межи ими, и билъ собою о двери, и слины текли емѣ по браде* [18]. Это похоже на симптомы эпилептического припадка, поэтому толкование *скерилса* как «согнулся, скорчился» неприемлемо, оно противоречит динамизму всей сценки. Скорина следовал чешской традиции в выборе слова для 1 Цар 21, 13, в чешской первопечатной Библии здесь стоит *sskerzylse*, поэтому представляется уместным русский эквивалент «сощерился», что, впрочем, потребует перестройки материала статьи на *щерить* «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера [19]. Чешская Библия основана на букве и духе Вульгаты, но в данном случае отступилась от нее, латинское *collabebatur* отражает другой медицинский признак эпилептического припадка — обморочное состояние.

5. «СМОРЩКА ж. Маршчына?» [4, с. 227]. Сомневаться здесь не в чем, толкование соответствует контексту (Иов 16, 8).

6. «ТРЕСЛЮ н. Сцягно?» [4, с. 286]. Тема контекста — анатомия расчленяемой туши жертвенного животного (Левит 4, 9). Скорининское слово лучше смотрится на фоне этимологически родственного старославянского *чръсла* мн. и его производных в живых славянских языках, в том числе чешского *třísla* мн.

7. «УЛЯИ м.» [4, с. 309]. Речь идет о названии реки (Даниил 8,2.16), имена собственные в «Словаре» соответственно заданию входить не должны.

8. «ФИМОВЫИ прым.» [4, с. 330]. Корабль доставил царю Соломону дары царицы Савской, в том числе *древа фимова многа збло, и камени драгаго* (3 Цар 10, 11). Так у Скорины, а в чешской первопечатной Библии — *drzewie jimenem tymowe*, тогда как в Вульгате — *ligna thyina*, «туевая древесина».

В Септуагинте и в церковнославянской Елизаветинской Библии ботаническое наименование дерева в этом стихе вообще отсутствует. Современник Скорины Мартин Лютер, переводя Библию на немецкий язык, счел, что здесь подразумевается сандаловое дерево (*Sandelholz*), в скрытом виде это решение вошло и в русский синодальный перевод, где дерево названо красным, что одно и то же (*Pterocarpus santalinus*, место произрастания — Индия). Между тем, заимствованное Скориной чешское слово представляет собой искаженную транскрипцию латинского, *ligna thyina*.

9. «ФОКГ м.» [4, с. 330]. В 2 Цар 16,1 речь идет о паре навьюченных ослов, у Скорины *они же несли суть на собѣ двесте бозановѣ хлеба, и сто свазковѣ вина сухого и седмѣ крошень фокговѣ и два сосуды вина* [20]. В первопечатной чешской Библии — *dwiestie pecnuow chleba: a sto swazkuow wina sucheho: a sto zhrud fikuow: a dwie nadobie wina*. Здесь славянская мысль отошла от буквы Вульгаты, где значится *centum massis palatharum*, «сто кусков прессованных фруктов». Это предполагает знание славянами плодов фиго — ближневосточной реалии, зафиксированной в Септуагинте.

10. «ФРАСТЪ ж.» [4, с. 330]. Надлежит исправить в «Словаре языка Скорины» грамматический род этого слова на мужской и конечное Ъ заменить на Ъ, как у Скорины: *быти под(ъ) фрастъми* [21, л. 35об]. В чешской первопечатной Библии — *bywati pod chrastmi*. Налицо древнее слово, из которого произошли русское *хворост*, чешское *chrast* «кустарник», немецкое *Forst* «лес». Этимологи считают это слово доиндоевропейским [19].

11. «ЩХАНИЕ н.» [4, с. 355]. Надлежит внести поправку в указание «Словаря» на первоисточник, якобы Исход. На самом деле цитата взята из книги Иова (41, 10) и является частью описания могучего бегемота [22; 23]: *щъханье его блескъ огнѣ* [21, л. 49об], в чешской первопечатной

Библии — *kuchanie jeho blesk ohnie*. Разбираемое слово всеми понималось однозначно — как *sternutatio* «чихание».

На этом хотелось бы поставить точку. Но было бы нечестно перед наукой уклониться от самой грустной части анализа «Словаря языка Скорины» — от разбора хотя бы некоторых случаев, когда в сознании его составителя и научного редактора была уверенность в правильности определений, но без достаточных на то оснований.

12. «ПЕРЕДЕЛ (предел) м. 1. Частка правослаўнага храма з самастойным прастолам» [4, с. 12]. За этим следуют три иллюстрирующие цитаты — одна из Книги Бытия, две из Третьей Книги Царств. Возразим, что в эпоху, к которой относятся эти источники, православия и вообще христианства еще не существовало, при Ное — и синагог [24].

13. «ПЕЧАТЬ ж. 1. Фігура, вобраз» [4, с. 18]. Это определение отнесено к контексту, где сообщается, как Даниил был брошен в яму на съедение львам, над ямой водрузили камень, *его же царь запечаталъ естъ пер(ъ)-стенем(ъ) своим(ъ) и печатъми вельмож(ъ) своихъ* (Даниил 6, 17) [25]. В чешской первопечатной Библии — *kral naznamenal prstenem swym a prstenem sslechticzow swych*. В Вульгате — *quem obsignavit rex anulo suo et anulo optimatum suorum*. Таким образом, необходимо иное определение толкуемого слова — например, «рельефный перстень, способный делать отпечаток на пластичном материале».

14. «ПИРОГ. м. Хлеб сітны. Возмешъ ... пирогъ покропленны олеемъ (КІ, 56)» [4, с. 19]. Ссылка на л. 56 скорининского Иова неверна, в этом издании 51 лист. Исправление при характерной для «Словаря» системе ссылок не на главу и стих библейского текста, а на лист мало кому доступного музейного издания — задача, которую легче выполнить составителю «Словаря». По смыслу стиха, речь идет об одном из ритуальных предписаний Пятикнижия Моисеева, причем ни в одном из них не говорится о просеивании муки через сито, поэтому в определении эпитет *сітны* неуместен.

15. «ПЛОШИЦА ж. Вош» [4, с. 25]. Если быть точным, то у Скорины не *плошица*, а *площица* — причем только однажды, в сочиненном самим Скориной развернутом надписании к 8 главе Исхода, а в собственно тексте главы — только *блочица*, многократно. Парность глухого и звонкого начального согласного закономерна, наличие слова у Скорины — полезный корректив к «Этимологическому словарю славянских языков», утверждающему, что это — исключительно украинское слово со значением «клоп» [26]. В чешской первопечатной Библии скорининским *блочицам* / *площицам* соответствуют *stienicze*, в Вульгате — *sciniphes*, в Септуагинте — *σκνίφεσ*. Греческая этимология видит здесь ненадежно идентифицированное насекомое, — не то комара, не то мелкого муравья — поедающее фиги и даже древесину [27].

16. «ПОДПОПЕЛНЫЙ прым. Шэры (попельнага колеру)» [4, с. 44]. Этот эпитет проиллюстрирован тремя цитатами, все они относятся к печеному хлебу. Одна из них — о гостеприимстве Авраама, теме знаменитой рублевской «Троицы». По воле Авраама была взята лучшая, тончайшая мука (в Вульгате — *simila*), из нее он попросил жену испечь хлеба в золе (*fac subcinericios panes*). Этот эпизод из Книги Бытия (18, 6) не дает никаких оснований отождествлять цвет получившегося хлеба с цветом золы, эпитет подразумевает только способ испечения и должен быть определен как «испеченный под горячим пеплом, золой».

17. «ПОРОК² м. Сценабітная гармата» [4, с. 73]. Согласно Вульгате, Варак бросился в крайнюю опасность, словно в пропасть, *quasi in praecipitium ac barathrum se discimilini dedit* (Суд 5, 15). Чешская первопечатная Библия своевольно отклонилась от буквализма, Варак по скорости действий уподоблен камню, вылетевшему из пращи (чеш. *prak*): *v prke bieve do propasti*. Скорина применил это же славянское слово, но с полногласием: *кюк с порока бежа до пропасти* [28]. Ничего стенобитного в этом художественном образе нет, в ветхозаветную эпоху крепостные стены пробивали не пращей, а тараном — тяжелым бревном с металлической головной частью, его энергия движения была большой за счет массы, а не скорости.

18. «ПОХИБА ж. Сумнение» [4, с. 91]. Когда о Самуиле шла слава как о пророзливце, не ошибающемся в предсказаниях, один человек сказал другому: «все, что он ни скажет, сбывается» (1 Цар 9, 6). В Вульгате эта фраза имеет несколько иную синтаксическую структуру: *omne quod loquitur sine ambiguitate venit*, где смысловая нагрузка русского *ни*, подчеркивающего отсутствие исключений в констатации, выражена словосочетанием *sine ambiguitate*, буквально «без двусмысленности». Текст чешской первопечатной Библии воспроизводит латинскую модель: *wssecko toz komu rowi bez rochyby tak przichazie*. Так и у Скорины: *все еже аще речеть кому безъ похибы збывается* [18, с. 180б]. Извлекать существительное из оборота *безъ похибы*, фактически являющегося неразложимым наречием, и давать лексикографическое определение имени *похиба*, не считаясь с оттенками контекста — значит писать словарь не к данному памятнику, а словарь вообще. Результат налицо: согласно предложенному определению, в контексте должна быть семантика сомнения, но ее нет.

19. «ПРАВИЛО ¹ н. Карона» [4, с. 96]. Предмет, оказавшийся среди украденного Аханом, представлял собой, по тексту Скорины, *правило золотое* весом 50 сиклей (Навин 7, 21), что составляет примерно 420 грамм. Русская синодальная Библия называет его слитком, в церковнославянской Библии это *сосудъ*, в лютеровской Библии — палочка, *eine Stange von Gold*. В Вульгате — *regula*, что близко к лютеровскому и скорининскому пониманию. В Септуагинте — *γλῶσσα*, буквально «язык». Но так и в исходном масоретском тексте. Гебраистика поясняет: в форме языка отливались слитки золота [29]. Что дало повод предположить здесь корону, вопреки достаточно прозрачной семантике славянского слова, — неясно.

20. «ПРЕЛОМЛЕНИЕ: преломление хлеба. Цялеснае кармленне» [4, с. 106]. Совсем не так! Для архаической традиции Ближнего Востока преломление хлеба — это высоко духовный акт, предваряющий семейную трапезу. Он совершался главой семьи или по его просьбе почетным гостем дома и состоял в разламывании хлеба на куски по числу участников трапезы, с возведением очей к небу и молитвенными словами (*berakha*). У апостола Павла этот акт прямо относится к таинству Евхаристии (I Кор 10, 16—17) [30].

21. «ПРИДВЕРНИК м. Швейцар» [4, с. 119]. Конечно, лексика любого синхронного среза языка сводит в единую функционирующую систему множество слов, совершенно разнородных по происхождению, возрасту, стилистической окраске. И все же есть пределы возможного в сочетаемости, швейцар (в исходном значении — выходец из Швейцарии) в Ветхом завете — за этими пределами.

22. «ПРОВОЛОК м. Дрот, струна» [4, с. 139]. Еще не увидев текст, есть от чего насторожиться: в эпоху Скорины, не говоря уже об эпохе Ветхого завета, не было проволоки как изделия железоделательной промышленности, изготавливаемого вытягиванием («волочением» — отсюда само название проволоки) нагретой добела прокатной заготовки через отверстие в стальной доске.

Обратимся к скорининскому тексту Книги Чисел 10, 7. *Есть ли ж восхоцещи собрати людей посполитыхъ. То да трубятъ проволокомъ не преламливаючи* [31]. Сличим его с Вульгатой: *Quando autem congregandus est populus, simplex tubarum clangor erit et non concise ululabunt*. Отсюда ясно, что предписывается Библией. Трубный сигнал сбора должен звучать ровно, протяжно (скорининское наречие — *проволокомъ*), без преломлений.

23. «ПРОХОДНЯ ж. Вячэрняя зорка» [4, с. 151]. Относится это к космогоническим размышлениям философствующего Иова о Творце: *Онъ же створилъ звѣз(ь)ды рекомыя Возъ, и звезды рекомыя Власожелци и Проходню* (Иов 9,9) [21, л. 13 об]. Обращает на себя внимание отсутствие похожего слова в чешской первопечатной Библии: *Kteryz posobi hwiezdny gzeszene Wuoz a hwiezdny Prolucznes a hwiezdny rzeczene Kuratka*. Нет ничего подобного и в Вульгате: *qui facit Arcturum et Oriona et Hyadas*. Под *Про-*

ходней Скорина подразумевал Венеру, она является звездой вечерней в такой же мере, как и звездой утренней, в этом — недостаток предложенного определения. *Проходня* — название восточнославянское, оно употреблено в этом же стихе Иова новгородской Геннадиевской Библией 1499 г. [32].

24. «РЫТИНА (ритина) ж. Гравюра» [4, с. 193]. К этому определению даны три цитаты, из них первые две не отыскиваются по указанным в «Словаре» адресам. Во всяком случае речь в этих цитатах идет об архитектурном декоре, как и в третьем примере, взятом из описания воздвигнутого царем Соломоном иерусалимского храма (3 Цар 6, 18). У Скорины этот стих выглядит так: *И д(ъ)сками кедровыми весь храм внутри был(ъ) обложен(ъ), делом резаным(ъ) испованым(ъ) и ритинами высед(ъ)лыми* [33, л. 134об]. Эпитет к толкуемому слову пояснен в другом месте «Словаря»: «ВЫСЕДЛЫИ тое, што выселыи ...ВЫСЕЛЫИ Арнаментаваны» [4, т. 1, с. 108]. Итак, *ритина* — орнаментированная гравюра? Все становится на свои места при обращении к Вульгате: *Et cedro omnis domus intrinsecus vestiebatur habens tornaturas et iuncturas suas fabrefactas et caelaturas eminentes. Omnia cedrinis tabulis vestiebantur, nec omnino lapis apparere poterat in pariete.*

Под *ритиной* подразумеваются выпуклые рельефы, *caelaturas eminentes* — то ли резьба по дереву, то ли металлическое литье (ср. 3 Цар 7, 24, где *ритина* соответствует латинскому *sculptura*).

25. «СКОРА ж. Тое, што кожа» [4, с. 214]. Так интерпретировано краткое прилагательное *скоръ* в форме множественного числа именительного падежа среднего рода, засвидетельствованное цитатой *от оутра до вечера преманяется часть, и вся сил скоро суть пред очима б(о)жьима* (Сирах 18, 26). Ср. в Вульгате: *A mane usque ad vesperam immutabitur tempus, et haec omnia citata in oculis Dei.*

26. «СЛИВАТЕЛЬ м. Скульптар» [4, с. 219]. В адресе цитаты ошибка, текст взят не из Иова, а из Исхода. Упущен интереснейший случай разобраться по лексическому материалу в архаической технологии литейного искусства. Скорина в ней разобрался глубже нынешних ученых, причем в выборе слов проявил независимость от чешских прецедентов перевода стихов Исход 32, 3—4. *И снесоша серези ко Аарону. Он(ъ) же виегда взмълъ от(ъ) нихъ, вчинилъ з(ъ)разъ яко чинять и сливатели. И вделалъ имъ телець слианъ* [34, с. 60 об]. Это — повествование о том, как золотые украшения, пожертвованные израильтянами, Аарон переплавил в золотого тельца для поклонения. Скорининскому *вчинилъ з(ъ)разъ* соответствует в чешской первопечатной Библии *vczinil formu, z(ъ)разъ* — это не беспомощное *сутыкненне* [4, т. 1, с. 238], а литейная форма. *Сливатель* — это мастер литья, а не скульптор, работающий, по точному смыслу названия своей профессии, резцовым инструментом. Скорина, конечно, справился в Вульгате: *Quas cum ille accepisset, formavit opere fusorio, et fecit ex eis vitulum conflatilem.*

27. «СМЕЯТИ незак. Насмяхацца» [4, с. 225]. Своенравно построен единственный в своем роде переходный глагол, причем без *ся*. Построен по недоразумению, из формы настоящего времени множественного числа третьего лица *смеють* надлежало вывести инфинитив *смети*. На такой весьма сомнительной основе прочитан стих Иудифь 14, 13 о том, как сыны Ассура собирались разбудить Олоферна на ложе Иудифи: *Возбудите его понеже мыши вылез(ъ)ли сут(ъ) з(ъ) дуплѣ и смеють насъ позывати к(ъ) бою* [35]. В Вульгате — *Intrate et excitate illum, quoniam egressi mures de cavernis suis ausi sunt provocare nos ad proelium.*

28. «СОБЛУДИТИ зак. 1. Захаваць» [4, с. 231]. Из императива следовало вывести инфинитив *соблюсти, соблюсти* — о праздновании Израилем дня исхода из египетского плена: *соблудите день сей в родехъ вашихъ обычаемъ веч(ъ)нымъ* (Исход 12, 17) [34, л. 23 об]. В Вульгате — *custodietis diem istum in generationes vestras ritu perpetuo.*

Предлагаемый же Словарем инфинитив СОБЛУДИТИ к делу не относится, потому что он имеет иное значение — «сотворить блуд».

29. «СПАХАТИ ◇ грех спахати саграшыць» [4, с. 244]. Вызывает большое сомнение, отсутствовала ли у этого глагола способность входить в свободные сочетания. В славянском переводе Левит 20, 13 видна архаичность семантики глагола *спахати*, в сравнении с ней земледельческое значение вторично: *Аще кто лжжетъ с мужскимъ(ъ) поломъ ложемъ женъ(ь)скимъ(ъ) оба два превеликий грехъ спахали суть, про то жъ оба два смертию да ъмрутъ кровь их да будетъ на нихъ* [36]. В чешской первопечатной Библии — *oba dva hanebnost sprachali*. В Вульгате — *uterque operatus est nefas*. Польский глагол *raszać* имеет два значения: «причинять зло», «копать, пахать». Первое старше, из-за него во втором поначалу было предубеждение против земледелия, страх перед потревоженными хтоническими силами. Просторечный глагол *напахать* «напортить», в исходной точке развития вряд ли связан с семантикой принижения или осмеяния труда пахаря, в историческую эпоху пахота неизменно считалась святым делом.

30. «ТОЧЕНИЦА ж. Смала» [4, с. 284]. Есть, конечно, своя эстетика, своя изобретательность в таком ходе мысли интерпретатора: в эпоху Ветхого завета лесные богатства были почти нетронутыми, из могучих стволов деревьев живописно источалась смола, которую естественно назвать *точеницей*. Но это импровизированное решение незачем записывать перед цитатой из текста, имеющего тысячелетия толковательной традиции и представленного на множестве древних и новых языков, причем каждый раз рождение перевода требовало филологических решений. Кстати сказать, чешская первопечатная Библия с переводом интересующего нас здесь стиха 3 Цар 7, 23 не справилась, в ней сделан пропуск.

Речь идет о декоре огромного бассейна из литой меди во дворце царя Соломона. Скорина излагает: *Пять локтей вышины его. И точеница тридцети локтей обкружала около его. И ритина подь краемъ(ъ) объ(ъ)хожала его десяти локтей окружающи море. Два ряды ритинъ зримыхъ были слиты* [33, л. 138об]. В Вульгате — *quinque cubitorum altitudo eius, et resticula triginta cubitorum cingebat illud per circuitum*. Здесь соответствующее *точенице* существительное *resticula* — уменьшительная форма от *restis* «веревка, канат», в русском синодальном переводе *снурок*. Рельефный витой снурок, отлитый заодно с корпусом бассейна. Выбор скорининского слова обусловлен тем, что *точити* имеет в ряду своих значений и такое как «вращать, вить» (ср. выражение *токарный станок*).

31. «ФАВОР м. Пашана, павага» [4, с. 329]. Здесь читатель ощущает аромат белых лилий герба Валуа, атмосферу придворного этикета современного Скорине Парижа, разливающуюся по всей Западной Европе до Праги. Очарованию кладет конец цитата, следующая за справкой, что такое *фавор* в понимании научного редактора «Словаря». Увы, цитата — ветхозаветная, 1 Цар 10, 3: *и далей пойдешь и придеши(ъ) къ ѡбѣѣ Фаворъ* [18, л. 20об]. В чешской первопечатной Библии — *k dubu Tabor*. В Вульгате — *ad quercum Thabor*. Имя собственное для конкретного экземпляра дерева — нечто не укладываемое в языковое сознание наших современников, но в архаическую эпоху это было в порядке вещей.

32. «ЦЫКЛО н. Сукенка» [4, с. 339]. Небрежное прочтение слова! В скорининском тексте отчетливое *цькло* «стекло». Это — из высказывания праведного Иова о премудрости: *не будетъ ей прировнано злато ани цькло* (Иов 28, 17) [21, л. 33об]. В чешской первопечатной Библии — *sttklo*, в Вульгате — *vitrum*. Подразумевалось нечто драгоценное, это ясно из этимологии: праславянское слово *stьklo происходит от готского *stikls* «кубок».

33. «ЯДРО² н. Сцягно» [4, с. 358]. Ошибка допущена «Словарем» в указании адреса цитаты, искать ее нужно в знакомом нам описании могучего бегемота (Иов 40, 12). Текст Скорины гласит: *Сила его въ бедра(ъ) его, и мощь его въ нѣпе ч(ъ)рева его. Съкручаетъ хвост(ъ) своѣ ꙗкобы кед(ь)рѣ, жилы ѡдер(ъ) его сплены сътъ* [21, л. 38об]. Если ядро есть *сцягно*, т. е. *бедро*, то это не вяжется с тем, что бедра уже названы в контексте как вместилище силы; слово *ядро* многозначно, но значение «бедро» пока в словарях отсутствует.

Для уяснения смысла рассматриваемого слова обратимся к чешской

первопечатной Библии: *Syla je(h)o w bedrach jeho, a mocz jeho w purku brzicha jeho; skrczuje woczas swuoy yakoz to kzedr, zily narokuow jeho sprojene jsu.* Этим задача решается, чешское *nároky* «семенники, мужские яички» соответствует восточнославянскому слову *ядра*. Подтверждение находится в тексте Вульгаты: *nervi testicularum eius perplexi sunt.* Определение *ядер* как семенников представляет собой маленькое лексикологическое открытие: в «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского таких данных нет, а правильность выбора слова удостоверяется тем, что Скорина — врач.

Скорининские тексты ветхозаветных книг характеризуют белорусского просветителя как вдумчивого филолога, находившегося во всеоружии энциклопедических знаний. Их реконструкция должна вылиться в форму «Словаря языка Скорины». Скорина переводил тексты — это значит, что в оптимальном словаре предстоит свести воедино лексикологические данные текстов исходных и конечных, только тогда станет ясной разница. Ясной без того, чтобы по каждому отдельному слову возникала необходимость обращаться к таким книгам, которых сегодня вообще нет на белорусской земле. «Словарь языка Скорины» нужен не только как памятник славянскому гуманисту, выдающейся языковтворческой личности отдаленного прошлого. Такой словарь станет надежной опорой филологической образованности здравствующего и грядущих поколений белорусских — и не только белорусских — гуманитариев.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Анічанка У. В., Жураўскі А. І.* Беларуска-іншаславянскі сінкрэтызм мовы выданняў Францыска Скарыны. Мінск, 1988 (Доклад на X Международном съезде славистов).
2. *Анічанка В. В.* Словарь языка Скорины. — Научно-реферативный бюллетень (отечественная литература). № 78. Франциск Скорина в белорусском советском обществоведении. Минск, 1987, с. 9—13.
3. *Гістарычны слоўнік беларускай мовы.* Галоўны рэдактар А. І. Жураўскі. Вып. 1—8 (А—Д). Мінск, 1982—1987.
4. *Слоўнік мовы Скарыны.* Складальнік У. В. Анічанка. Навуковы рэдактар В. І. Баркоўскі. Т. 1. (А—О). Мінск, 1977; Т. 2 (П—Я). Мінск, 1984.
5. *Баркоўскі В. І.* Ад рэдактара. — Слоўнік мовы Скарыны. Т. 1. Мінск, 1977, с. 3.
6. *Kommentar zur Bibel, 1. Bd.* Hrsg. von D. Guthrie, J. A. Motyer. Wuppertal, 1980, S. 435.
7. *Gilbert M.* L'Écclesiastique: Quel texte? Quelle autorité? — *Revue Biblique*. Т. 94, № 2. Jérusalem, 1987, p. 233—250.
8. *Wilcke C.* Inanna / Ištar. — In: *Reallexikon der Assyriologie*, 5. Bd. Berlin — New York, 1976—1980, S. 81.
9. *Stamm J. J.* Hebräische Frauennamen. — In: *Hebräische Wortforschung. Festschrift zum 80. Geburtstag von W. Baumgartner.* Leiden, 1967, S. 327.
10. *Флоровский А. В.* Чешская Библия в истории русской культуры и письменности. — *Sbornik filologický*, XII. Ceske Akademie věd a umění. Třída III. Praha, 1946, с. 168—169.
11. *Biblia česka.* Praha, 1488.
12. Премудрость Иисуса сына Сирахова. Прага, 1517, л. 42 об.
13. Изборник Святослава 1073 года. М., 1983, л. 170 об.
14. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М., 1987, с. 532.
15. *Adinolfi M.* Il medico in Sir 38, 1—15. — *Antonianum*. Т. 62. Roma, 1987, p. 172—183.
16. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 12. М., 1987, с. 130—131.
17. *Grüsemann F.* Zwei alttestamentliche Witze. — *Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft*, 92. Bd. Berlin, 1980, S. 215—227.
18. I Книга Царств. Прага, 1518.
19. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 4. М., 1987, с. 504—505.
20. II Книга Царств. Прага, 1518.
21. Книга Иова. Прага, 1517.
22. *Saubet A., Poplin F.* Béhémot, ma créature. — *Le Monde de la Bible*, № 48. Paris, 1987, p. 22.
23. *Couroyer B.* Béhémot — hippopotame ou buffle? — *Revue Biblique*, Т. 94, № 2. Jérusalem, 1987, p. 214—221.
24. *Griffiths J. G.* Egypt and the Rise of the Synagogue. — *Journal of Theological Studies*. Т. 38. London, 1987, p. 1—15.
25. Книга пророка Даниила. Прага, 1519, л. 22.
26. Этимологический словарь славянских языков, под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 2. М., 1975, с. 124—125.

27. *Chantraine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. T. 2. Paris, 1970, p. 548—549.
28. Книга Судей. Прага, 1519, л. 12 об.
29. *Edel R.-F.* Hebräisch-Deutsche Präparation zu Josua. Marburg, 1975, S. 28.
30. *Mazza E.* L'Eucaristia di I Corinzi 10, 16—17 in rapporto a Didachè 9—10.— *Ephemerides Liturgicae.* T. 100. Roma, 1986, p. 193.
31. Книга Чисел. Прага, 1519, л. 25—25 об.
32. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 2. СПб., 1895, с. 1604.
33. III Книга Царств. Прага, 1518.
34. Исход. Прага, 1519.
35. Книга Иудифь. Прага, 1519, л. 23.
36. Левит. Прага, 1519, л. 39.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Пиндиков А. Владимир Полянов / Бълг. акад. на науките. Ин-т за лит. София, 1988, 181 с., 8 л. ил. (Лит. анкети).

Полесье. Материальная культура / Бондарчик В. К., Браим И. Н., Бураковская Н. И. и др.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского. Льв. отд-ние; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. Киев, 1988, 446 с., ил.

Прищепя Е. Д. Образ современника в словацкой драматургии 70-х — 80-х годов XX века: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук / МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 1988, 20 с.

Проблемы развития искусства социалистических стран Европы: Сб. по учеб.-метод. вопр. / Акад. художеств СССР. Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Л., 1988, 91 с., ил.

Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма / Отв. ред. Литаврин Г. Г., Иванов В. В.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. М., 1989, 351 с.

Ристески С. Создавањето на современниот македонски литературен јазик. Скопје, 1988, 505 с., факс.

Русанова Н. В. Линейно-динамическая структура синтагмы и простого предложения в русском поэтическом тексте и художественном переводе: (На материале рус. и пол. поэзии). Автореферат дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина М., 1988, 16 с.

С думи и без думи: Среци и разговори с Борис Димовски и неговите герои / Записани и предадени от Андонова Н. София, 1988, 104 с., ил.

Славова М. Иван Аржентински / Бълг. акад. на науките. Инст. по литература София, 1988, 195 с., 8 л. ил.

Соболев Р. П. Рангел Вылчанов и пути болгарского кино. М., 1988, 111 с., ил.

Ташев Т. Животът на Летописеца. Пловдив, 1985. Ч. 2. Парго. 335 с.

Тетовска-Троева М. Н. Отглаголни имена за лица в българските говори (nomina agentis). София, 1988, 204 с.

Тракийското съкровище от Рогозен / Бълг. акад. на науките. Ин-т по тракология. София, 1988, 166 с.

Чекман В., Smułkowska E. Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej / Czekman W., Smułkowska E. Warszawa, 1988, 325 s., il.

Чепская нация на заключительном этапе формирования. 1850 г.— начало 70-х годов XIX в. / Отв. ред. Фрейдзон В. И.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. М., 1989, 268 с.

Adamczyk-Garbowska M. Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej: Problemy krytyki przekładu. Wrocław ets., 1988, 181 s.

Banach A. Granice sztuki. Kraków, 1988, 336 s., il.

Benešić J. Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do Ivana Gorana Kovačića / Jugosl. akad. znanosti i umjetnosti. Razred za suvremenu književnost; Za tisak prired. Hamm J. et al. Zagreb, 1988.

Sv. 8. Nepokolebivjiv — onaj., 1613—1848 s.

Cynarski S. Zygmunt August. Wrocław ets., 1988, 237 s., 12 ark. il.

Jastrzębowska E. Sztuka wczesnochrześcijańska. Warszawa, 1988, 298 s., il.

Józef Piłsudski i jego legenda / Pod red. Czubińskiego A. Warszawa, 1988, 143 s.

Kaliszewski A. Książę z Kraju Łagodności: (O twórczości Jerzego Harasymowicza).



ФЛОРЕНСКИЙ П. А.

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА И РОССИЯ *

Научное наследие Павла Флоренского (9.1.1882—15.12.1943), человека, обладавшего энциклопедическими познаниями и необычайно широким охватом и видением всего сущего, справедливо называемого русским Леонардо да Винчи XX в., еще не собрано воедино, не комментировано, малоизвестно, а то и вовсе неизвестно. Правда, еще в 70-х и в последующих годах в различных изданиях в нашей стране («Контекст», «Богословские труды», «Памятники культуры. Новые открытия», «Труды по знаковым системам») и за рубежом начались публикации различных рукописных и малодоступных сочинений Павла Флоренского. В 1988 г. в Бергамо (Италия) была проведена, с участием ряда ученых из нашей страны, международная конференция, посвященная творческому наследию Павла Флоренского. За рубежом приступают к изданию собрания его сочинений, ставится вопрос о таком же начинании в нашей стране. Однако реализация такого замысла потребует многих лет. Поэтому не следует удивляться, что ряд журналов и серийных изданий у нас и за рубежом продолжают печатать фрагменты богатого наследия отца Павла Флоренского.

Эссе Павла Флоренского «Троице-Сергиева Лавра и Россия» было помещено в сборнике «Троице-Сергиева Лавра», изданном в 1919 г. Народным Комиссариатом по Просвещению, его Отделом по делам музеев и охране памятников искусства и старины. При этом отделе существовала Комиссия по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, издавшая упомянутый сборник в Сергиевом Посаде.

Вновь публикуемая работа Павла Флоренского интересна тем, что в ней он кратко и в особом ракурсе и контексте излагает идеи, которые он позже развил в дополнительных разделах своих лекций в Московской Духовной Академии и в ряде других сочинений.

Сосредоточиваясь как бы на одном месте — Троице-Сергиевой Лавре, на одном человеке — Преподобном Сергии Радонежском и даже в каком-то отношении на одном времени — Сергия, времени «возникновения Московской Руси», отец Павел Флоренский дает живую и в то же время достаточно абстрагированную и одухотворенную картину истоков, пути и предназначения тысячелетней русской культуры, внутренней ее сущности и богатства ее внешних проявлений. Он говорит о высоком эллинизме, прошедшем сквозь фильтр византизма, о византизме, воспринимаемом на Руси не только в пору ее Крещения, но и в последующие эпохи, особенно в эпоху, когда Русь освобождалась от Золотой Орды, а умирающая Византия представляла собой «огнистую вершину гречес-

* От редакции. Публикуя статью П. А. Флоренского, считаемся с неоднозначным читательским восприятием отдельных положений мыслителя-энциклопедиста. Однако плюрализм мнений и предполагает более широкое ознакомление с различными воззрениями, проясняющими общую картину истории отечественной культуры.

кого Средневековья», он говорит об особом л и к е России, отличая л и к от л и ц а, как отличается фотография от портрета и обычный внешний облик от «явления духовной формы, освобожденного от всех наслоений и временных оболочек, ото всякой шелухи, ото всего полуживого и застывшего чистые, проработанные линии». Павел Флоренский пишет свой духовный портрет России. Он безусловно сильно и разительно отличается от многих других хорошо известных «портретов» той же Матери-Родины, той же «личности», но именно эта иная «манера письма» и привлекает нас сегодня, ибо она, как и всякое истинное искусство, философия и духовное озарение, раскрывает в нас способность нестандартного и более широкого видения и восприятия. Понятие «лика», предложенное в 1919 г. Павлом Флоренским, перекликается с понятием многолической или «симфонической» личности, выдвинутым восемью годами позже Николаем Трубецким. Трубецкой считал, что «личностью является не только отдельный человек, но и народ». «Мало того, — пояснял он, — даже целая группа народов, создавших, создающих или могущих создать особую культуру, рассматривается как особая л и ч н о с т ь: ибо культура, как совокупность и система культурных ценностей, предполагает целесообразное творчество, а такое творчество предполагает личность, немислима без личности» (*Н. С. Трубецкой. К проблеме русского самопознания. 1927, с. 3*). П. Флоренский пишет о возможности все большего и большего «очищения» портрета «симфонической» личности от наслоений и временных оболочек, он обращается к «первообразу образа», к «портрету портрета», к «гармонии совершенной личности», говорит о «чистейшем выражении духовной сущности», которая может передаваться материальным символом — Троицкой Лаврой, «Домом Преподобного Сергия», но он говорит также и о делах совсем мирских — о лаврском ювелирном деле, о художественно-кустарных мастерских, о русской народной певческой манере, о народном многоголосии как о «зерне прорастающей музыки будущего», о задачах этнографических и антропологических, обо «всех сторонах Русской жизни», обо всем том, что формирует и выражает русскую культуру.

Не хочется поддаваться соблазну указания на семиотические принципы и подходы к явлениям русской духовной культуры, так ярко проявляющимся во вновь публикуемой работе отца Павла Флоренского, он был прозорителем и предшественником не только в этой сфере гуманитарных знаний. Читатель сам их обнаружит почти с первых строк статьи и обрадуется им. Хочется также напомнить: мы обращаемся к статье «Троице-Сергиева Лавра и Россия» во время только что отмеченного тысячелетия Крещения Руси (988—1988) и совсем недавно — 650-летия Троице-Сергиевой Лавры (1337—1987). Мы несколько опоздали с публикацией, как опоздали с ревностным отношением к нашей культурной истории и к ее памятникам. Но лучше поздно, чем никогда!

Акад. Н. И. ТОЛСТОЙ

I.

Посетивший Троице-Сергиеву Лавру в XVII веке, именно 11-го июня 1655 года, архидиакон антиохийского патриарха Павел Алеппский отзывается о ней с величайшим восхищением, как о прекраснейшем месте всей земли. Церковь же Св. Троицы «так прекрасна», по его словам, «что не хочется уйти из нее». Нам нет нужды заподозривать искренность этого суждения: ведь Павел Алеппский писал не для печати, а исключительно для себя и для своих внуков, и лишь в наше время его впечатления стали общим достоянием. Неправильно было бы отвести это свидетельство и ссылкой на восточное красноречие писателя: ведь, если арабская фантазия его, а точнее сказать, огнистость восприятий, способна была видеть в окружающем более художественных впечатлений, чем притупленная и сыровая впечатлительность северян, то одинаковой оценке подвергалось все виденное, и среди всего Лавра оказывается на исключитель-

ном месте; очевидно, она и была таковою. Это свидетельство Павла Алеппского невольно проверяет на себе всякий, кто прожил достаточно времени возле «Дома Пресвятыя Троицы», как выражаются наши летописцы. При туристском обходе Лавры, беглому взору впервые развертывается не подавляющее количественно, но действительно изысканное богатство художественных впечатлений от нея. Есть, однако, и гораздо более тонкое очарование Лавры, которое охватывает изо дня в день, при вживании в этот замкнутый мир. И это очарование, теплое, как смутная память детства, уродняет душу Лавре, так что все другие места делаются отныне чужбиной, а это — истинною родиной, которая зовет к себе своих сынов, лишь только они оказываются где-нибудь на стороне. Да, самые богатые впечатления на стороне скоро делаются тоскливыми и пустыми, когда потянет в Дом Преподобного Сергия. Неотразимость этого очарования — в его глубокой органичности. Тут — не только эстетика, но и чувство истории, и ощущение народной души, и восприятие в целом русской государственности, и какая-то, трудно объяснимая, но непреклонная мысль: здесь, в Лавре именно, хотя и непонятно как, слагается то, что в высшем смысле должно называть общественным мнением, здесь рождаются приговоры истории, здесь осуществляется всенародный и, вместе, абсолютный суд над всеми сторонами русской жизни. Это-то все-стороннее жизненное единство Лавры, как микрокосма и микроистории, как своего рода спектра бытия нашей Родины, дает Лавре характер ноуменальности. Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс русской истории, здесь собрано наиболее нервных, чувствующих и двигательных, окончаний, здесь Россия ощущается как целое.

Подобно тому, как художественный портрет бесконечно более плотен, так сказать, нежели фотографический снимок, ибо сгущенно суммирует в себе многообразие различных впечатлений от лица, которые фотографической пластинкой улавливаются лишь случайно и разрозненно, так и Лавра есть художественный портрет России в ее целом, по сравнению с которым всякое другое место — не более как фотографическая карточка. В этом смысле можно сказать, что Лавра и есть осуществление или явление русской идеи, — энтелехия, скажем с Аристотелем. Вот откуда это неизъяснимое притяжение к Лавре! Ведь только тут, у ноуменального центра России, живешь в столице русской культуры, тогда как все остальное — ее провинция и окраины. Только тут, повторяю, грудь имеет полное духовное дыхание, а желудок чувствует удовлетворенность правильно-соразмерным и доброкачественным культурным питанием. Отходя от этой точки равновесия русской жизни, от этой точки взаимопоры различных сил русской жизни, начинаешь терять равновесие, и гармоническому развитию личности начинает грозить специализация и техничность. Я почти подхожу к тому слову о местности, пронизанной духовной энергией Преподобного Сергия, к тому слову, которому пока еще все никак не удается найти себе выражения. Это слово — а н т и ч н о с т ь. Вжившийся в это сердце России, единственной законной наследницы Византии, а через посредство ее, но также — и непосредственно, — древней Эллады, вжившийся в это сердце, говорю, здесь, у Лавры, неутомимо пронизывается мыслью о переключениях, в самых сокровенных недрах культуры, того, что он видит перед собою, с эллинской античностью. Не о внешнем, а потому поверхностно-случайном, подражании античности идет речь, даже не об исторических воздействиях, впрочем беспорных и многочисленных, а о самом духе культуры, о том веянии музыки ее, которое уподобить можно сходству родового склада, включительно иногда до мельчайших своеобразностей и до интонации и тембра голоса, которое может быть у членов фамилии и при отсутствии поражающего глаз внешнего сходства. И если вся Русь, в метафизической форме своей, сродна эллинству, то духовный родоначальник Московской Руси воплотил в себе эту эллинскую гармонию совершенной, действительно совершенной, личности с такою степенью художественной проработки линий духовного характера Руси, что сам, в отношении к Лавре, или точнее — всей культурной области, им насквозь пронизанной, есть, — возвраща-

юсь к прежнему сравнению, — портрет портрета, чистейшее выражение той духовной сущности, которая сквозит многообразно во всех сторонах Лавры, как целого. Если Дом Преподобного Сергия есть лицо России, явленное мастерством высокого искусства, то основатель ее есть первообраз ее, этого образа России, первоявление России, скажем с Гете, или, обращаясь к родной нашей терминологии, л и к ее, — лик лица ее, ибо под «ликом» мы разумеем чистейшее явление духовной формы, освобожденное от всех наслоений и временных оболочек, ото всякой шулухи, ото всего полуживого и застывшего чистые, проработанные линии ее. В церковном сознании, не том скудном сознании, которое запечатлено в богословских учебниках, а в соборном, через непрерывное соборование и непрерывное собиране живущем духовном самосознании народа, Дом Живоначальныя Троицы всегда сознавался и создается сердцем России, а строитель этого Дома, Преподобный Сергий Радонежский, — «особым нашего Российского царствия хранителем и помощником», как сказали о нем цари Иоанн и Петр Алексеевичи в 1689 году, — особым покровителем, хранителем и вождем русского народа, — может быть, точнее было бы сказать — Ангелом-Хранителем России. Не в сравнительных с другими святыми размерах исторического величия тут дело, а — в особой творческой связанности Преподобного Сергия с душою русского народа. Говоря о своем отце, как об исключительном для меня человеке, я этим даже не ставлю вопроса о сравнительных его размерах с другими отцами, но, тем не менее, он — мой, он именно, и вникая в себя, я не могу не сосредоточиться исключительно образом именно на нем. Так, в стремлении познать и понять душу России, мы не можем не собрать своей мысли на этом Ангеле земли Русской — Сергие, а ведь народная, церковная мысль об ангелах-хранителях весьма близко подходит к философским понятиям: Платоновской идее, Аристотелевской форме, или скорее энтелехии, к позднему, хотя и искаженному, понятию идеала, как сверх-эмпирической, выше-земной духовной сущности, которую подвигом художественного творчества всей жизни надлежит воплотить, делая тем из жизни — культуру. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, «чюдного старца, святого Сергия», как свидетельствуют о нем его современники.

II.

Время Преподобного Сергия, то есть время возникновения Московской Руси, совпадает с одной из величайших культурных катастроф. Я разумею конец Византии, ибо Преподобный Сергий родился приблизительно за полтора ста, а умер приблизительно за шестьдесят лет до окончательного падения Константинополя. Но светильник перед угасанием возгорается ярче; так Византийское Средневековье, перед падением, дает особенно пышный расцвет, как бы предсмертно, с обостренной ясностью, сознавая и повторяя свою идею: XIV век ознаменован так называемым третьим Возрождением Византии при Палеологах. Все духовные силы царства Ромеев тут вновь пробуждаются и в умозрении, и в поэзии, и в изобразительных искусствах. Древняя Русь возжигает пламя своей культуры непосредственно от священного огня Византии, из рук в руки, принимая, как свое драгоценнейшее достояние, Прометеев огонь Эллады. В Преподобного Сергия, как в воспринимательное око, собираются в один фокус достижения греческого средневековья и культуры. Разошедшиеся в Византии и там раздробившиеся, — что и повело к гибели культуры тут, — в полнокровном сердце юного народа они снова творчески и жизненно воссоединяются ослепительным явлением единой личности и из нея, от Преподобного Сергия, многообразные струи культурной влаги текут, как из нового центра объединения, напеая собой русский народ и получая в нем своеобразное воплощение.

Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу:

нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука — все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному. В лице его русский народ сознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу и тогда только, сознав себя, — получил историческое право на самостоятельность. Куликово поле, вдохновенное и подготовленное у Троицы, еще за год до самой развязки, было пробуждением Руси, как народа исторического, Преподобным Сергием *incipit historia*. Однако, взгляды, какова форма того объединения всех нитей и проблем культуры, которая была воспринята Преподобным от умирающей Византии. Ведь не мыслить же Преподобного полигистором или политехником, в себе одном совмещающем всю раздробленность расплывающейся Византийской культуры. Конечно нет. Он прикоснулся к наиболее огнистой вершине греческого средневековья, в которой, как в точке, были собраны все ее огненные лепестки, и от нее возжег свой дух; — этою вершиной была религиозно-метафизическая идея Византии, особенно ярко разгоревшаяся вновь во времена Преподобного. Я знаю: для невникавших в культурно-исторический смысл религиозно-метафизических споров Византии за ними не видится ничего, кроме придворно-клерикальных интриг и богословского педантизма. Напротив, вдумавшемуся в догматические контroversы рассматриваемого времени, бесспорна их неизмеримо важная, общекультурная и философская, подоснова, символически завершающаяся в догматических формулах. И споры об этих формулах были отнюдь не школьными словопрениями о бесполезных тонкостях отвеченной мысли, но глубочайшим анализом самых условий существования культуры, неутомимой и непреклонной борьбой за единство и самое существование культуры, ибо так называемые ереси, рассматриваемые в культурно-историческом разрезе, были, по своей подоснове, попытками подрывать фундаменты античной культуры и, нарушив ее целостность, тем ниспровергнуть сполна. Богословски, все догматические споры, от первого века начиная и до наших дней, приводятся только к двум вопросам: к проблеме Троицы и к проблеме Воплощения. Эти две линии вопросов были отстаиванием абсолютности Божественной, с одной стороны, и абсолютной же духовной ценности мира — с другой. Христианство, требуя с равной силой и той и другой, исторически говоря, было разрушением преграды между только-монотеистичным, трансцендентным миру, иудейством и только-пантеистичным и имманентным миру язычеством, как первоначал культуры. Между тем, самое понятие культуры предполагает и ценность воплощаемую, а следовательно — и сущую в себе, неслиянно с жизнью, и воплощаемость ее в жизни, так сказать пластичность жизни, тоже ценной в своем ожидании ценности, как глины, послушной перстам ваятеля:

...Сама в перстах слагалась глина
В обличья верные моих сынов...—,

свидетельствует о творчестве, устами Прометея, глубинный исследователь художественного творчества. Итак, если нет абсолютной ценности, то нечего воплощать, и следовательно невозможно самое понятие культуры: если жизнь, как среда, насквозь чужда божественности, то она не способна принять в себя, воплотить в себе творческую форму, и следовательно — снова останется она сама по себе, вне культуры, и следовательно — снова уничтожается понятие культуры. Нападения на это понятие были все время, то с одной, то с другой стороны — то со стороны одностороннего язычества, то со стороны одностороннего иудейства, и защита культуры, в самых ее основах, всенародным соборным сознанием всегда была борьбой за оба, взаимонедобходимые, начала культуры. Смотря по характеру нападения, и самая защита схематически чеканилась в лозунгах, имеющих, на вкус случайного обозревателя истории, узкий и схоластический характер догматических формул, но полных соками жизни и величайшей общекультурной значимости, при рассмотрении их в контексте культуры. Два принципа культуры, — они же — предельные символы догматики, —

взаимо-подкрепляемые и взаиморазъясняемые, как основа и уток, сплетают ткань русской культуры. Притом, Киевская Русь, как время первообразования народа, как сплетение самых тканей народности, раскрывается под знаком идеи о божественной Восприимчивости мира, тогда как Руси Московской и Петербургской, как веку оформления народа в государство, маячит преимущественно другая идея, о воплощаемом, превышемирном Начале ценности. Женственная восприимчивость жизни в Киевской Руси находит себе догматический и художественный символ Софии Премудрости, Художницы Небесной. Мужественное оформление жизни в Руси Московско-Петербургской выкристаллизовывается в догматический и художественный символ Пресвятой Троицы. Родоначальники двух основных пластов русской истории — Киевского и Московского, вместе с тем, суть величайшие правозвестники этих двух основных идей русского духа.

III.

Это они первыми узрели в иных мирах первообразы тех сущностей, которыми определяется дух русской культуры,— вовсе не богословской науки только, культуры не церковной только, ложно понимая это слово, как синоним «клерикальный», но во всей ширине и глубине ее, церковной — в смысле всенародной, целостной русской культуры, во всех ее, как общих, так и частных, обнаружениях. Да, Равноапостольный Кирилл узрел в таинственном сновидении, в видении детского возраста, когда незапятнанная душа всецело определяется явленным ей первообразом горнего мира, узрел Софию, и в его восприятии, Она — божественная восприимчивость мира — предстала, как прекраснейшая Дева царственного вида. Избрав ее себе в невесты из сонма прочих дев, Равноапостольный Кирилл бережно и благоговейно пронес этот символ через всю свою жизнь, сохранив верным свое рыцарство Небесной Деве. Этот символ и сделался первой сущностью младенческой Руси, имевшей воспринять от царственных щедрот Византийской культуры. Первый по времени русский иконографический сюжет — икона Софии, Премудрости Божней, этой царственной, окрыленной и огненно-ликой, пламенеющей эросом к небу, Девы, исходит от первого родоначальника русской культуры — Кирилла. Нужно думать, что и самая композиция Софийной иконы, исторически столь таинственной, — имею в виду древнейший, так называемый Новгородский тип, — дана Кириллом же. Около этого небесного образа выкристаллизовывается Новгород и Киевская Русь. Не забудем, что самый язык нашей древнейшей письменности, как, вместе с ним, и наша древнейшая литература, пронизанная и формально и содержательно благороднейшим из языков — эллинским, был выкован, именно выкован, из мягкой массы языка некультурного — Кириллом, другом Софии, ибо прозвание его — Философ, и что около Софийного храма, около древнейших наших, Софийных, храмов обращается рыцарственный уклад Средневековой Киевской Руси. Но вот, за доверчивым приятием эллинства и за формированием извне женственной восприимчивости русского народа, приходит пора мужественного самосознания и духовного самоопределения, создание государственности, устойчивого быта, проявление всего своего активного творчества в искусстве и науке, и развитие хозяйства и быта. Новое видение горнего первообраза дается русскому народу в лице его второго родоначальника — Преподобного Сергия, и опять небесный зрак выкристаллизовывается в его душе с детского, на этот раз еще более раннего, а по сказанию жития — даже утробного возраста. Нам нет надобности опровергать или защищать сказание жития о том, как младенец Варфоломей приветствовал троекратно Пресвятую Троицу, ибо важно народное сознание, желающее этим сказать: «Вот как глубоко определился дух Преподобного горним первообразом, еще в утробе материнской весь ему преданный и весь им проработанный». Этим первообразом была абсолютность Пресвятой Троицы, приблизительно в это время, во время Преподобного Сергия, предельно довыясненная и досказанная в, так называемых, паламитских спорах и в вопросах об «общей благодати Пресвятой Троицы» церков-

ною мыслью Византии. Эти вопросы глубоко занимали и Преподобного Сергия — для осведомленности в них он посылал в Константинополь своего доверенного представителя. Выговорив это свое последнее слово, Византия завершила свою историческую задачу, и ей делать было больше нечего. В истории открылся новый век — век культурного воплощения этого слова, и культурная миссия переходила к новому народу, уже усвоившему добродетель восприимчивости, а потому — и способность воплощать в себе горний первообраз. Византийская Держава выродилась в «грекосов», а из русских болот возникало русское государство. Символом новой культурной задачи было видение Троицы.

IV.

Нередко говорится, что деревянный храм Пресвятой Троицы, построенный Преподобным Сергием в Лавре, и затем вновь возведенный из белого камня Преподобным Никоном, есть первая по времени в мире церковь во имя Пресвятой Троицы. Сейчас трудно отстаивать внешнефактическую точность этого первенства: древние историки упоминают до четырех храмов во имя Пресвятой Троицы на Востоке и два — на Западе в IV—IX веках; но если бы эти свидетельства и были достоверными, то все же такое храмосодательство не вошло в обиход, и даже названные церкви не удержали долго своего имени, так что впоследствии Восток не имел Троицких храмов. В наших летописях уже в XII, XIII и XIV веках упоминаются храмы Троицкие; так, в Кракове, в Лысце, несколько в Новгороде Великом, в Холме, в Серпухове, в Паозерьи и, главное, соборный в Пскове. Точно ли позднейшая редакция летописных известий соответствует древним записям, или же названные храмы, первоначально все деревянные и горевшие, были лишь впоследствии переименованы в Троицкие и названы в летописях, в более древних известиях, этим именем только ретроспективно, — сказать трудно. Но бесспорно, во-первых, существовавшее в древности переименование храмов (так например, Лаврский Святого Духа был первоначально во имя Троицы), во-вторых, варианты в летописных известиях (например Троицкий Краковский, называется и Богородичным) и, наконец, в порядке раскрытия богословско-философского сознания, — сравнительно поздняя, в XIV веке лишь, установка симметричной Троицкой формулы, каковая именно в XIV веке, в Восточной церкви, делает идею Троицы предметом особенного внимания и ведет потому к строительству Троицких храмов, развитию Троицкой иконографии, созданию цикла Троицких празднеств и новой литургической поэзии. Поэтому, весьма мало вероятно построение храмов Троицких до этого роста Троицкой идеи в XIV веке; но если бы несколько таких храмов и в самом деле было в века предшествующие, то они не могли быть сознательно воздвигнутыми символами идеи еще не оформившейся и, следовательно, должны быть рассматриваемы либо как исторические случайности, не входящие в планомерное течение истории, либо — как смутные предчувствия того целостного явления, которое раскрывается лишь с XIV века. Великое не возникает случайно и не бывает капризной вспышкой: оно есть слово, к которому сходятся бесчисленные нити, давно намечавшиеся в истории. Великое есть синтез того, что по частям фосфорически мерцало во всем народе; оно не было бы великим, если бы не разрешало собою творческое томление всего народа. Но, тем не менее, это оно именно — творчески синтезирует смутные волнения, изливая их в одном слове. Таковым было слово Преподобного Сергия, выразившего самую суть исканий и стремлений русского народа, и это слово, хотя бы и произносимое ранее, сознательно и полновесно было, однако, произнесено впервые им. В этом смысле неоспоримо мировое первенство Лаврского Собора Пресвятой Троицы. Начало западноевропейской самостоятельности в Петербургский период России опять ознаменовано построением Троицкого собора. Этим установил Петр Великий духовную связанность Санктпетербурга и Москвы. Таким же построением было ознаменовано, в свое время, и начало самостоятельности России на Востоке.

Читатель Пресвятой Троицы, Преподобный Сергей строит Троичный храм, видя в нем призыв к единству земли Русской, во имя высшей реальности. Строит храм Пресвятой Троицы, «чтобы постоянным взиранием на него, — по выражению жизнеописателя Преподобного Сергия, — побеждать страх пред ненавистною раздельностью мира». Троица называется Живоначальной, т. е. началом, истоком и родником жизни, как единосущная и нераздельная, ибо единство в любви есть жизнь и начало жизни, вражда же, раздоры и разделения разрушают, губят и приводят к смерти. Смертоносной раздельности противостоит живоначалное единство, неустанно осуществляемое духовным подвигом любви и взаимного понимания. По творческому замыслу основателя, Троичный храм, гениально им, можно сказать, открытый, есть прототип собирания Руси в духовном единстве, в братской любви. Он должен быть центром культурного объединения Руси, в котором находят себе точку опоры и высшее оправдание в с е стороны русской жизни. Широкое гостеприимство, заповеданное Преподобным Сергием и возведенное в силу закона царем Алексеем Михайловичем, дары всех родов, начиная от хлеба и кончая исцелением тел и душ, причем не забыты даже утешения детям — игрушки, самим Преподобным изготовляемые, все это вместе, по замыслу прозорливого открывателя Троичного культурного идеала России, должно было стать благоприятным условием для «взирания» на храм Пресвятой Троицы и созерцания в нем первообраза Божественного единства. Отныне Троичное храмоздательство связывается с именем Преподобного Сергия, и не без причины Троичные храмы имели обычно Сергиевские приделы.

Но если храм был посвящен Пресвятой Троице, то должна была стоять в нем и храмовая икона Пресвятой Троицы, выражающая духовную суть самого храма, — так сказать, осуществленное в красках имя храма. Трудно при этом представить, чтобы ученик ученика Преподобного Сергия, так сказать, духовный внук его, почти ему современный, работавший уже при его жизни и, вероятно, лично знавший его, осмелился бы заменить композицию Троичной иконы, бывшую при Преподобном и им утвержденную, самочинной композицией того же первообраза. Миниатюры Елифаньева жития представляют икону Троицы в келлии Преподобного Сергия не с самого начала, а лишь с середины жизни, т. е. свидетельствуют о возникновении ее именно среди деятельности Преподобного. Если первоявленная Софийная икона, неизвестная Византии, впервые создается в Киевской Руси, с самым ее возникновением, восходя к видению младенца Кирилла, рыцаря Софии, то икона Троичная, дотоле неизвестная миру, появляется впервые в Московский период Руси, опять-таки в самом его начале, и художественно воплощает духовное созерцание служителя Пресвятой Троицы — Сергия. Мы сказали: «неизвестная миру»; но и тут, как и в утверждении о Троицком Соборе, требуется различение духовного смысла, как символического содержания, и тех, исторически выработанных материалов, которые привлечены к воплощению символа. Если в отношении к знаменитой Рублевской Троице мы говорим о последних, то тогда, конечно, ее должно рассматривать лишь как звено в цепи развития изобразительных искусств вообще и композиции трех Странников-Ангелов — в частности. История этой композиции очень длинна, ибо уже в 314 году, у дуба Мамврийского, по известию Юлия Африкана, была картина, изображавшая явление трех Странников Аврааму, а в V и в VI веках известны подобные же изображения на стенах Римской церкви Марии Маджоре и Равеннского св. Виталия. С тех пор этот иконографический сюжет встречается не раз; но нужно вникнуть в духовный смысл этих изображений, прежде чем устанавливать их связь с Троицей Рублева. Изображение женщины с ребенком на руках вовсе не есть первообраз Сикстины, ибо в Сикстине творческим мы признаем вовсе не сюжет материнства, каковой доступен всякому, а именно Богоматеринство, открывшееся Рафаэлю. Так точно, три фигуры за обеденным столом, хотя бы даже и снабженные крыльями, просто не могут быть даже сопоставляемы с Троицей Рублева, ибо этим сюжетом творческое названной иконы еще нисколько не определяется. Композиция трех Странников с предстоящим

Авраамом, или позже — без него, есть не более как эпизод из жития Авраама, хотя бы даже, условно-аллегорически, принято было усматривать в ней намек на Пресвятую Троицу. Нас умиляет, поражает и почти ошарашивает в произведении Рублева вовсе не сюжет, не число «три», не чаша за столом и не крила, а внезапно сдернутая пред нами завеса ноуменального мира, и нам, в порядке эстетического, важно не то, какими средствами достиг иконописец этой обнаженности ноуменального, и были ли в чьих-либо других руках те же краски и те же приемы, — а то, что он воистину передал нам узренное им откровение. Среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распри, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, «свышний мир» горнего мира. Вражде и ненависти, царящим в дольнем, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве сфер горних. Вот этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком прямо в душу созерцающего от Троицы Рублева, эту ничему в мире не равную лазурь — более небесную, чем само земное небо, да, эту воистину пренебесную лазурь, несказанную мечту протосковавшего о ней Лермонтова, эту невыразимую грацию взаимных склонений, эту премирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг пред другом покорность — мы считаем творческим содержанием Троицы. Человеческая культура, представленная палатами, мир жизни — деревом и землей — скалою, — все мало и ничтожно пред этим общением неиссякаемой бесконечной любви: все — лишь около нея и для нея, ибо она — своею голубизною, музыкою своей красоты, своим пребыванием выше пола, выше возраста, выше всех земных определений и разделений, есть само небо, есть сама безусловная реальность, есть то истинно лучшее, что выше всего сущего. Андрей Рублев воплотил столь же непостижимое, сколь и кристально твердое и непоколебимо верное, видение мира. Но чтобы увидеть этот мир, чтобы вобрать в свою душу и в свою кисть это прохладное, живительное веяние духа, нужно было иметь художнику пред собою небесный первообраз, а вокруг себя — земное отображение, быть в среде духовной, в среде умеренной. Андрей Рублев питался, как художник, тем, что дано ему было. И потому, не Преподобный Андрей Рублев, духовный внук Преподобного Сергия, а сам родоначальник земли Русской — Сергей Радонежский, должен быть почитаем за истинного творца величайшего из произведений не только русской, но и, конечно, всемирной кисти. В иконе Троицы Андрей Рублев был не самостоятельным творцом, а лишь гениальным осуществителем творческого замысла и основной композиции, данных Преподобным Сергием. Это — второй символ русского духа; под знаком его разворачивается дальнейшая русская история, и достойно внимания, хотя много и ждаться было нельзя, что величайший литургический сдвиг, в котором, своим чередом, выразились русская идея и своеобразные черты русского духа, опять-таки связываются с именем Преподобного Сергия. Я говорю о Троичном дне, как литургическом творчестве именно русской культуры и даже, определеннее, — творчестве Преподобного Сергия. Напомним, что Византия не знала этого праздника, как не знала она, в сущности, ни Троичных храмов, ни Троичных икон. Последнее слово Византии, в области догматической, стало источным выходом первых творческих сил русской культуры. Праздник Пятидесятницы, бывший на месте нынешнего Троичного дня, был праздником исторического, а не открыто онтологического значения. С XIV века на Руси он выявляет свою онтологическую суть, делаясь праздником Пресвятой Троицы, причем третья молитва на вечерне, обращенная ко Христу, соединяется теперь с новой молитвой — к Духу Святому, впоследствии отмененной, согласно Византийскому образцу, реакционною, и вообще антинациональною, деятельностью патриарха Никона. Почитание же Духа Утешителя, Надежды Божественной как духовного начала женственности, сплетается с циклом представлений Софийных и переносится на последующий за Троицею день — День Духа Святого, в каковой, по проникновенной догадке нашего народа,

«Земля — именинница», т. е. празднует своего Ангела, свою духовную Сущность — Радость, Красоту, Вечную Женственность.

Праздник Троицы, нужно полагать, впервые появляется в качестве местного храмового праздника Троицкого Собора — как чествование «Троицы» Андрея Рублева. Подобно тому, как служба Иерусалимского Храма Воскресения, — в мире, по самому месту своего совершения, единственная, — делается образом и образцом службы Воскресной, повсюду совершаемой, и вводится затем в устав, или подобно тому, как празднество Воздвижения Креста Господня, опять-таки первоначально единственное по самому предмету празднования, по единственности Животворящего Креста, уставно распространяется, в качестве образца — (аналогичных примеров перехода единичного литургического явления в устав можно привести и еще немало), — так точно местное празднование единственной иконы единственного храма, будучи духовною сущностью всего русского народа, бесчисленными отражениями воспроизводится в бесчисленных Троицких храмах, бесчисленными иконами Троицы. Предмет, отраженный тысячью зеркал, среди тысячи своих отражений, все же остается основой реальности всех их и реальным их центром. Так первое воплощение духовного первообраза, определившего суть России — первообраз Пресвятой Троицы, как культурной идеи, несмотря на дальнейшее размножение свое, все же остается историческим, художественным и метафизическим уникалом, несравнимо ни с какими своими копиями и перекопиями. Прекраснейшее из изданий русской архитектуры, Собор Троицкий, «из которого не хочется уходить», — по вышеупомянутому признанию Павла Алеппского, и прекраснейшее из изображений русской иконописи — Рублевская Троица, как и прекраснейшее из музыкальных воплощений, несущее великие возможности музыки будущего, служба вообще и Троицына дня в частности, значительны вовсе не только как красивое творчество, но своею глубочайшею художественной правдивостью, то есть полным тождеством, покрывающих друг друга, первообраза русского духа и творческого его воплощения.

V.

Так вот почему, именно здесь, в Лавре, мы чувствуем себя дома более, чем в своем собственном доме. Ведь она, и в самом деле, воплотила в себе священнейшая воздыхания наших собственных глубин, но с таким совершенством и полнотою, с какими мы сами никогда не сумели бы их воплотить. Лавра — это мы, более чем мы сами, это мы — в наиболее родных и наиболее сокровенных недрах нашего собственного бытия. Вот почему мы несли и несем сюда не только задушевнейший трепет нашего сердца, но и все наше творчество, во всем его объеме, все наши культурные достижения и ценности: мы чувствуем в них какую-то неполноту, покуда не соотнесли их с сердцем русской культуры. Около Лавры, не в смысле стен, конечно, а в смысле средоточия культурной жизни, выкристаллизовывается культурное строительство Русского народа. Праздник Троицы делается точкою приложения творчества бытового и своеобразных поверий, народных песен и обрядов. Красота народного быта обростае вокруг этого Троицына дня и частью, как например наши Троицкие березки, вливается в самое храмовое действо, так что нет определенной границы между строгим уставом церковным и зыблущимся народным обычаем. Русская иконопись нить своего предания ведет в иконописной Лаврской школе. Русская архитектура на протяжении всех веков делает сюда, в Лавру, лучшие свои вклады, так что Лавра — подлинный исторический Музей русской архитектуры. Русская книга, русская литература, вообще русское просвещение, основное свое питание получали всегда от просветительной деятельности, сгущавшейся в Лавре и около Лавры. Самые странствования Преподобного Сергия, а дальше бесчисленные поколения русских святых, бывших его именно духовными детьми, внуками, правнуками и так далее, до наших дней включительно, разносили с собою русское просвещение, русскую культуру, русскую хозяйственность, русскую

государственность, а точнее сказать, русскую идею, в ее целом, все стороны жизни нашей собою определяющую.

В древней записи о кончине Преподобного, он назван «начальником и учителем всем монастырем, иже в Руси». И действительно, не менее четверти русских монастырей основано прямыми его учениками, колонизировавшими Северную и Северо-восточную Россию до пределов Пермских и Вологодских включительно. Но бесчисленно отраженные и тысячекратно преломленные лучи нашего Солнца! Что не озарено его светом?

Идея Пресвятой Троицы для Преподобного Сергия, была, в порядке общественного строительства, заповедью общежития. «Там не говорят: это мое, это — твое; оттуда изгнаны слова сии, служащие причиною бесчисленного множества распрей», — писал в свое время св. Иоанн Златоуст о современных ему общежительных монастырях. Общежителство знаменует всегда духовный подъем: таковым было начало христианства. Начало Киевской Руси также было ознаменовано введением общежития, центр какового возникает в Киево-Печерской Лавре вскоре после крещения Руси; и начало Руси Московской, опять-таки приобщившейся новому духовному созерцанию, отмечено введением в центре Руси Московской общежития, по совету и с благословения умирающей Византии. Идея общежития, как совместного жития в полной любви, единомыслии и экономическом единстве, — назовется ли она она по-гречески к и н о в и е й, или по-латыни — к о м м у н и з м о м, всегда столь близкая русской душе и сияющая в ней, как возделеннейшая заповедь жизни, — была водружена и воплощена в Троице-Сергиевской Лавре Преподобным Сергием и распространялась отсюда, от Дома Троицы, как центра колонизации и территориальной, и хозяйственной, и художественной, и просветительной и, наконец, моральной. Из всех этих сторон культурного изучения Лавры следует остановиться сейчас в особенности на сравнительно мало учитываемом ее просветительном воздействии на Русь. Уже Преподобный Сергий требовал от братии, наряду с телесными трудами, в которых сам переносил, неустанного чтения, а для чтения необходимо было завести и мастерских переписчиков: так Сергиева Лавра, от самого основания своего, делается очагом обширной литературной деятельности, частичным памятником которой донныне живет в монастыре его драгоценное собрание рукописей, в значительной доле здесь же написанных и изукрашенных изящными миниатюрами, а живым продолжением той же деятельности было непрерывавшееся донныне огромное издательское дело Лавры, учеть культурную силу которого было бы даже затруднительно по его значительности. А с другой стороны, Лавра всегда была и местом высших просветительных взаимосоприкосновений русского общества; просветительные кружки, эти фокусы идейных возбуждений, все пять веков были связаны тесными узами с Лаврой и все пять веков тут именно, у раки Преподобного, искали они духовной опоры и верховного одобрения своей деятельности. От кого именно? Не от тех или иных насельников монастыря, входящих и входивших в состав Лавры как ее служители и охранители, а у всего народа русского, через Лавру говорящего, искали одобрения от Лавры как единого культурного целого, центр которого — в Троицком Соборе, а периферия — далеко с избытком покрывает границы России. Московская Духовная Академия, питомица Лавры, из Лаврского просветительного и учебного кружка Максима Грека вышедшая, и в своем пятисотлетнем бытии, при всех своих скитаниях, неизменно блюдшая крепость уз с Домом Живоначальной Троицы, не без глубокого смысла после четырехсотлетней своей истории нашла себе наконец место успокоения в родном своем гнезде и вот уже более ста лет пребывает здесь, с рукописными и книжными своими сокровищами. Эта старейшая Высшая Школа России духовно была и должна быть, конечно, отнюдь не самостоятельным учреждением, а лишь одною из сторон жизни Лавры. Так точно, нельзя рассматривать обособленно и те кустарные промыслы, которые испокон веков сгрудились вокруг Лавры и, во второй половине XIX века, выкристаллизовали из себя более чистое свое выражение — художественно-кустарную мастерскую Абрамцева, в свой черед ставшую образцом художественно-кустарных мастерских

прочих наших губерний. Кстати сказать, не без вдохновений от Лавры и не без ее организующей мощи возникло и жило само Абрамцево, взрослившее новое русское искусство и столь много значившее в экономическом строе современной России: вспомним хотя бы Северную и Донецкую железные дороги. Но разве можно исчерпать все то, чем высказывала и высказывает себя культурная зиждательность, исходящая от Лавры? Рискую или распространиться на целую книгу, или же — дать сухой перечень, не будем продолжать далее и на сказанном остановимся.

VI.

Подвожу итоги. Лавра собою объединяет, в жизненном единстве, все стороны Русской жизни. Мы видим тут великолепный подбор икон всех веков и изводов; как же можно представить себе Лавру без школы иконописи и без иконописных мастерских? Лавра — показательный музей архитектуры; естественно организовать здесь школу архитектурную, а, может быть, — и рассадник архитектурных проектов, своего рода строительную мастерскую на всю Россию. В Лавре сосредоточены превосходнейшие образцы шитья — этого своеобразного, пока почти не оцененного изобразительного искусства, достижения которого недоступны и лучшей живописи; как необходимо учредить здесь, на месте, Общество, которое изучало бы памятники этого искусства, издавало бы атласы фотографически увеличенных швов и воспроизведения памятников, которое распространяло бы искусство вышивки и устроило соответственную школу и мастерские. Превосходнейшие образцы дела ювелирного в Лавре наводят на мысль о необходимости устроить здесь учреждение, пекущееся об этом деле. Нужно ли говорить, как необходима здесь певческая школа, изучающая русскую народную музыку, с ее, по терминологии Адлера, «гетерофонией» или «народным многоголосием», — это зерно прорастающей музыки будущего, идущей на смену гомофонии Средневековья и полифонии Нового времени и их в себе примиряющей? Нужно ли напоминать об исключительно благоприятном изучении здесь, в волнах народных, набегающих ото всех пределов России, задач этнографических и антропологических? Но довольно. Сейчас не исчислять всех культурных возможностей, столь естественных около Лавры, нельзя и предвидеть те новые дисциплины, науки, сферы творчества и плоскости культуры, которые могут возникнуть и, наверное, возникнут с свершившимся переломом мировой истории — от уединенного рассудка ко всенародному разуму. Скажу короче: мне представляется Лавра, в будущем, русскими Афинами, живым музеем России, в котором кипит изучение и творчество, и где, в мирном сотрудничестве и благожелательном соперничестве учреждений и лиц, совместно осуществляются те высокие предназначения дать целостную культуру, воссоздать целостный дух античности, явить новую Элладу, — которые ждут творческого подвига от Русского народа. Не о монахах, обслуживающих Лавру и безусловно необходимых, как пятивековые стражи ее, единственные стильные стражи, не о них говорю я, а о всенародном творчестве, сгущающемся около Лавры и возжигающемся культурною ее насыщенностью. Средоточием же этой всенародной Академии культуры, мне представляется поставленное до конца тщательно, с использованием всех достижений русского высокостильного искусства, храмовое действо у священной гробницы Основоположника, Строителя и Ангела России.



МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

СВОБОДНОЕ ПОЛЕ НАУКИ (обзор писем)

Письмо в редакцию А. П. Грицкевича, В. П. Грицкевича, А. И. Мальдиса о проблемах изучения истории Белоруссии феодального периода («Советское славяноведение», 1988, № 3) вызвало читательские отклики. Некоторые вопросы, затронутые в упомянутом письме, развиты в публикации С. В. Думина о Великом княжестве Литовском («Советское славяноведение», 1988, № 6). Другими авторами также высказаны замечания и конкретные предложения, с которыми редакция сочла возможным кратко познакомить читателей журнала.

Так, д-р ист. наук Н. П. Ковальский, канд. ист. наук Ю. А. Мыцак (Днепропетровский гос. ун-т) считают, что критические высказывания белорусских исследователей о состоянии историографии в их республике во многом справедливы и к уровню разработок по истории Украины, где все же намечилось, как пишут, преодоление застоя. Многие работы по истории Белоруссии XIV—XVIII вв., изданные за последние 30 лет, по мнению украинских коллег, грешат односторонностью, перекосом социально-экономической тематики в ущерб культурологической, военной, политической, церковной, генеалогической, биографической и т. д. Авторы письма сетуют на отсутствие должной координации исследований по белорусистике, важному звену в общеславянистической цепи, особенно в связях и взаимовлияниях восточных и западных славян. Поправить дело, полагают они, могли бы регулярные научные форумы по истории Белоруссии с участием отечественных и зарубежных историков. Далее высказываются за кардинальное улучшение источниковедческой работы в БССР, чему содействовало бы создание в республике Археографической комиссии, систематическое введение в научный оборот огромных массивов архивных материалов, в том числе из зарубежных архивохранилищ (например, «Радзивилловский фонд» — около 40 тыс. единиц — в Главном архиве древних актов ПНР), что существенно прояснило бы многие аспекты истории Белоруссии, а также России, Украины, Литвы, Польши.

На распространенность — не только в Белоруссии — закрытых, «табуированных» тем указывают на примере Латвии акад. Латв. ССР Я. П. Страдыш и проф. д-р ист. наук Х. П. Стродос. «Таковы, например, — читаем в их письме, — закрытые для свободного исследования, в угоду моментам текущей политики, темы Ливонской и Северной войны на территории Латвии, вопрос о редукции дворянских имений в Лифляндии в конце XVII в., ... о формировании национального самосознания латышского народа, о некоторых сторонах деятельности младолатышей и т. д.». Авторы призывают к честному и открытому пересмотру тех положений в публикациях по истории СССР и всеобщей истории, которые, по их мнению, не свободны от влияния дворянско-монархической, великодержавной историографии в освещении внешнеполитических действий русского самодержавия.

О неизжитых рецидивах «монархического сознания» говорит в своем письме писатель В. А. Орлов, ссылаясь на пример из жизни родного Полоцка: «Здесь, у стен Софийского собора, можно часто услышать умиленные рассказы экскурсоводов о том, как в 1563 г., в период Ливонской

войны царь Иван Грозный „освобождал Полоцк от поляков“. На самом же деле исторические источники (ПСРЛ. Т. 13. Вт. полов. СПб., 1902, с. 356; *Шаден Г.* О Москве Ивана Грозного. Записки опричника. М., 1925, с. 117 и др.) свидетельствуют, что тогда в Полоцке разыгралась кровавая трагедия. В городе было уничтожено все иноверное население, 11060 крестьян Полоцкой округи, укрывавшихся в Нижнем замке, царь раздал в плен своим подчиненным; пленены были 50 тыс. мещан и шляхты, причем многие из них за отказ от царской службы вместе с семьями долго томились в тюрьмах, а впоследствии были умерщвлены». Размышления о фактах усеченной или тенденциозной интерпретации исторического прошлого в некоторых публикациях автор завершает высказыванием В. И. Ленина о необходимости целостного, совокупного подхода к каждому исследуемому вопросу, чтобы объективный анализ исторических явлений не подменялся бы произвольной «стряпней» для оправдания наблагovidного дела (см. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 30, с. 351).

Значение теоретического наследия Ленина, в частности по национальному вопросу, подчеркивает в своем письме канд. физ.-мат. наук В. В. Голуб (Обнинск). Упущения и передержки в ряде работ по истории Белоруссии автор связывает с более общей проблемой, а именно с забвением или вульгарным истолкованием важнейших положений ленинизма о праве наций на самоопределение, с отступлением от ленинских принципов национальной политики, с бюрократическими извращениями, нанесшими немалый урон исторической памяти, развитию национальных языков, культур. «История,— пишет В. В. Голуб,— какой бы она в действительности ни была, это громадный урок национального самосознания. Но она не в планах бюрократии, которой единство народов в их разнообразии непонятно, для которой единство воплощается лишь в единообразии, одинаковости. Поэтому она стремится деформировать историю народов соответствующим образом. В результате и появляются мифы, произвол, белые пятна, запретные зоны и т. п.». Автор также критикует отдельные исследования, учебники, содержания, по его мнению, облегченную и даже оправдательную трактовку политики русского царизма в отношении белорусского и других угнетенных народов, призывая к решительному преодолению упрощений и упущений в исторической литературе.

Публикацию «Неужели „запретная зона“?» поддержали также в своих письмах преподаватели-историки, краеведы Л. И. Бойко (Солигорск), В. А. Варавва (Минск), А. П. Гостев (Гродно), К. С. Шидловский (Браслав), канд. ист. наук О. А. Трусов (Минск). Как и авторы вышеупомянутых писем, они также высказались за преодоление вульгарного социологизирования, субъективизма, ведомственного диктата и групповых пристращений в исторической науке, укрепление ее познавательной и воспитательной роли.

В числе безотлагательных мер для улучшения творческого климата исследователей-историков названы выпуск специального журнала по истории Белоруссии, создание, точнее воссоздание Археографической комиссии в республике, действовавшей в 20-е годы. Высказано и такое мнение (О. А. Трусов): комплексному освещению прошлого народов Белоруссии, России, Украины, их роли и места в общеславянском историческом контексте содействовало бы специализированное периодическое издание по истории восточных славян.

Остается поблагодарить авторов писем и выразить надежду, что и публикация А. П. Грицкевича, В. П. Грицкевича, А. И. Мальдиса, и ее обсуждение послужат общей задаче полного восстановления научности в советской историографии, свободной от «запретных зон» и всяких охранительных заградений.

А. К.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

А. Ф. НОСКОВА. Крестьянское политическое движение в Польше. Сентябрь 1939 — весна 1948 г. М., 1987, 316 с.

В рецензируемой монографии рассматривается наименее изученный ракурс революционного процесса в Польше на решающем этапе борьбы польского народа за национальную независимость и социальное освобождение. Свою главную задачу автор видит в освещении идейно-политического развития людовского движения, обусловившего переход людовцев от борьбы за завершение буржуазно-демократической революции к участию вместе с рабочим классом и под его политическим руководством в уничтожении капитализма.

Специальная глава знакомит читателя с людовским движением в межвоенной Польше, но основной точкой отсчета для автора, безусловно, является сентябрь 1939 г. В условиях фашистской оккупации отчетливо проявилось содержание подходов всех социальных слоев населения к решению первоочередных общенациональных задач и степень их сопряженности как с подлинными национально-государственными интересами, так и с интересами трудового большинства нации, обнажилась неспособность правого руководства людовцев к «самостоятельному» осуществлению своих демократических программ.

Верхний хронологический рубеж монографии — весна 1948 г., когда в ходе народно-демократической революции полностью завершился отход людовского движения с позиций борьбы за реформы в рамках буржуазного строя. Все его течения восприняли идею рабоче-крестьянского союза, но уже не в аграристском понимании как достижение крестьянской гегемонии в обществе, а как признание руководящей роли рабочего класса в борьбе за уничтожение капитализма, поддержали строй народной демократии и переориентацию внешнеполитического курса Польши на союз с СССР. Таким образом, хронологические рамки моно-

графии представляются вполне обоснованными.

В центре исследования — анализ исключительно сложного и противоречивого феномена мелкобуржуазного людовского движения во всем многообразии проявлений. А. Ф. Носкова раскрывает его политическую неустойчивость, склонность к компромиссам, к уступкам представителям господствовавших классов, что облегчало возможность правым кругам буржуазного лагеря разрушать единство действий тех сил польского общества, которые противостояли власти крупных собственников. В связи с этим понятно внимание автора к революционной партии рабочего класса — ППР, политика которой, хотя и не всегда последовательно, направлялась в целом на поддержку подлинно демократических, леворадикальных кругов людовцев, на расширение влияния и политического авторитета левых сил в людовском движении, в конечном счете, на отрыв польского крестьянства от буржуазии. Вместе с тем упрека заслуживает недостаточное, на наш взгляд, внимание к другому политическому отряду рабочего класса — ППС, чье влияние в польском обществе все же не следует недооценивать.

Мобилизовав значительный материал, существенную часть которого составляют документы из архивохранилищ СССР и ПНР, А. Ф. Носкова определила и обосновала периодизацию процесса складывания рабоче-крестьянского союза как основы народной власти.

Первый этап связан с периодом второй мировой войны. Людовское движение, будучи важнейшим компонентом буржуазного лагеря Сопротивления, разделяло политические цели его руководства и концепции борьбы за независимость Польши. Сердцевиной этих концепций была идея восстановления Польши в довоенных границах. В результате сложных

процессов среди людовцев формируется последовательно демократическое левое направление, представители которого активно участвовали в вооруженной борьбе с оккупантами, становлении новой власти и проведении демократических преобразований. Под влиянием политической переориентации части польской деревни на ППР, укрепления авторитета ПКНО правоцентристское крыло людовского движения, представленное СЛ-Рох, пошло на разрыв с буржуазным «лондонским» лагерем.

Второй этап в развитии людовского движения, как убедительно аргументирует А. Ф. Носкова, начался в июне 1945 г. с созданием правительства национального единства. С точки зрения внутреннего развития движения главное содержание этого этапа заключалось в борьбе двух течений по ключевым политическим вопросам дня: за или против революционно-демократического союза с рабочим классом, за или против разрушения основных политических и экономических структур буржуазного польского общества. Организационно оформившиеся как ПСЛ летом 1945 г. правоцентристские силы в движении взяли курс на перехват власти в стране, на противостояние рабочим партиям — ППР и ППС, на уничтожение революционно-демократических сил в движении, позиции которых защищало СЛ. Однако «тотальная» оппозиционность ПСЛ, как показано в монографии, ставила эту партию фактически вне лагеря последовательной демократии, порожидала политические конфликты внутри ПСЛ, размывала «низы» партии, вела к их отрыву от правого руководства. Референдум 30 июня 1946 г. отчетливо показал, что широкие массы крестьянства одобрили проведенные демократические преобразования в Польше, что лидерам ПСЛ не удалось расколоть демократическую коалицию, изолировать и блокировать левые силы.

Со второй половины 1946 г., согласно периодизации А. Ф. Носковой, открылся новый этап в развитии людовского движения. Стержневыми процессами его являлись укрепление последовательно демократических сил людовцев и нарастание процессов дезинтеграции в ПСЛ. В то время было положено начало перемоту идейно-политических концепций «крестьянской власти», рассматривавшейся как альтернатива власти рабочего класса. Тщательное изучение материалов привело автора к заключению о

том, что на этом рубеже последовательно демократическим силам польского общества удалось обеспечить поступательное развитие революции. Выборы в Сейм в январе 1947 г. знаменовали стабилизацию политических процессов в польском обществе, обеспечили возможность консолидации людовского движения на платформе народной демократии. Внутри ПСЛ к концу 1947 г. победу одержали демократические силы. Весной 1948 г. СЛ и ПСЛ подписали совместную идейную декларацию. Людовское движение нашло себя, свое место в политической системе народной демократии, твердо встало на позиции политического союзника рабочего класса, обеспечив прочность революционной диктатуры, суть которой, по словам В. И. Ленина, — опора на громадное большинство населения [1].

К числу достоинств монографии, на наш взгляд, следует отнести вклад А. Ф. Носковой в обоснование подлинно научной трактовки событий 40-х годов в Польше, в противовес упрощенным и спрямленным характеристикам революционного процесса в стране, встречающимся и поныне в исторической литературе.

В рецензируемой монографии впервые в советской историографии проведен анализ процессов формирования и классового содержания идеологии польского аграризма, раскрыт серьезный демократический потенциал людовского движения, противопоставлявшего концепцию «третьего пути» процессу фашизации Польши и наступления имущих классов на права трудящихся. Вместе с тем автор показывает, как идеологические установки аграризма, подававшиеся обществу как альтернатива социалистическим устремлениям рабочего класса, фактически оправдывали отказ людовского руководства от создания вместе с ППР антифашистского фронта в годы войны, поддержку «лондонского» лагеря в расчете на будущее восстановление в Польше капиталистического строя в буржуазно-либеральном варианте. Эклектичность концепции аграризма в целом, как убеждает читателя монография, могла привести людовцев к союзу с буржуазией.

А. Ф. Носкова не торопится констатировать социально-экономическое поражение аграризма в Польше, хотя такой вывод можно встретить в литературе, исследует предпосылки сохранения ряда демократических постулатов концепции аграризма в крестьянской среде.

Внимание читателя, несомненно, при-

включает историографическая часть работы, отражающая современное состояние разработки проблематики людовского движения, учитывающая всю палитру его позиций и оценок.

А. Ф. Носкова пытается включить польское крестьянское движение в круг крестьянских движений в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Такой подход представляется крайне важным и перспективным. Однако сопоставительная линия в монографии выявлена недостаточно полно, параллели с другими странами региона носят эпизодический характер, что не оправдывает ожиданий читателя. Весьма нужная в работе глава по межвоенному периоду страдает, на наш взгляд, схематизмом.

На раздумья наводит данная в монографии дефиниция людовского движения. По нашему мнению, она нуждается в большей конкретизации. Может быть, стоило показать, что характер движения на разных этапах своего развития рождал различные сочетания требований национального и социального содержания, что с 30-х годов все более сильными становились социальные аспекты.

На наш взгляд, в монографии следовало бы развернуть сюжет об отражении в документах ПИР программных требований крестьянства. Не всегда ясно, как воспринимала рабочая партия крестьян-

ские интересы и насколько ей удавалось согласовывать их с интересами рабочего класса. Думается, что этим сюжетам следовало бы уделить больше внимания.

В монографии сделана попытка подойти к важному теоретическому вопросу о мелкобуржуазной демократии. Говоря о мелкобуржуазной революционности и мелкобуржуазном радикализме, автор не разделяет эти понятия. Возникает вопрос и о том, как рассматривать мелкобуржуазную демократию — как часть демократии буржуазной или как феномен, способный в условиях гегемонии рабочего класса в революционном процессе «срабатывать» самостоятельно. В принципе позицию автора можно «уловить», но, думается, что ей вполне по силам решать сложные теоретические вопросы, специально заостряя на них внимание.

Высказанные замечания и пожелания не снижают весьма высокой оценки работы, полной глубоких размышлений, новаторской и творческой по характеру. Монографию, несомненно, следует отнести к серьезным достижениям советской исторической полонистики.

Волокитина Т

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 10.

Историография истории южных и западных славян. М., 1987, 261 с.

Рецензируемый труд — первое в нашей стране и не имеющее аналогов в мировой историографии учебное пособие по истории зарубежной и отечественной славистики. Как подчеркивается в предисловии, в нем предпринята попытка «создать целостную картину изучения зарубежных славянских народов» (с. 3). Авторы пособия — сотрудники кафедры истории южных и западных славян МГУ и других вузов страны, специалисты Института славяноведения и балканистики АН СССР — исходили из программы курса, разработанного славистами МГУ в 1976 г., рекомендаций X всесоюзной конференции историков-славистов 1984 г., и, безусловно, учитывали современное состояние исторического славяноведения в нашей стране и за ее пределами.

В введении на основе проблемного принципа рассматриваются взгляды

К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина на историю зарубежных славянских народов. Освещая вопросы, поставленные ими и связанные в основном с западнославянской проблематикой, авторам (З. С. Ненашева, И. В. Созин) следовало бы больше уделить внимания и воззрениям К. Маркса и Ф. Энгельса на роль южного славянства в европейском революционном процессе. Было бы интересно приоткрыть и творческую лабораторию основоположников марксизма-ленинизма, показать на основании каких материалов они изучали славянскую историю.

Важно, что при оценке буржуазной славянской историографии отмечаются не только ее недостатки, но и ценные выводы ученых. Особенно четко это прослеживается на материалах раздела историографии южных и западных славян

в межвоенный период и в годы второй мировой войны.

В книге нашел свое отражение и вклад болгарских ученых-славистов, таких как М. Дринов, работавших длительное время в России и посвятивших свое творчество истории Болгарии. В то же время не забыты и ученые из числа русских эмигрантов, много сделавшие, как например Г. А. Острогорский, для развития и разработки проблем исторической науки.

Анализируя взгляды не только профессиональных историков, но и представителей общественных кругов славянских стран, авторы большинства глав совершенно правильно исходят из необходимости показать развитие исторической мысли. Но, к сожалению, в главе о славяноведении в России отсутствует характеристика взглядов русских революционных демократов на историю зарубежных славянских народов.

Представляется необходимым сказать несколько слов о советских историко-славистических исследованиях. Авторы этой главы (А. Н. Горяинов, В. А. Дьяков) стремились охватить все важнейшие направления и работы историков СССР. Сложностью этой задачи можно объяснить преобладание информативности в данной главе. Хотелось бы более глубокого анализа различных методологических подходов советских историков. Мы имеем в виду школу М. Н. Покровского и ее критику. Анализ упомянутых подходов был бы полезен в настоящее время, когда перед исторической наукой поставлены проблемы многоаспектного раскрытия политики и роли России в славянских странах.

Неординарная задача стояла и перед авторами, попытавшимися впервые показать достижения и проблемы исторической науки в братских странах. Материал этого раздела свидетельствует, что авторы сумели показать основные этапы развития исторической науки в новых условиях и очертить направления, тенденции, характер исследований славистов. Рассматриваются не только успехи в разработке проблем национальной истории, но и вопросы, ждущие своего разрешения. В то же время недостаточно представлена новейшая литература, отражающая процессы современного общественно-политического развития этих государств.

Большой интерес представляют главы о развитии славяноведения в ГДР и ФРГ, Франции, Англии, США. Эта проблематика, рассматриваемая в связи с их об-

щественно-политическим развитием, почти не освещена в отечественной литературе, авторы фактически поднимали научную целину. Наиболее подробно, на наш взгляд, представлено славяноведение в США, что связывается с расширением «политико-идеологической значимости этой науки» (с. 247). Наряду с показом организационных основ славяноведческих центров, называются видные американские слависты и направления славяноведения. Хотелось бы только пожелать автору большей четкости в определении общественно-политических событий в странах социалистического сотрудничества (с. 248).

Несколько конкретных замечаний. Нельзя согласиться с датировкой начала русской исторической славистики, которая в книге относится только ко второй половине XIX в. Такой подход нам кажется шагом назад по сравнению как с предшествующими исследованиями, так и с новейшими работами [1]. Нет основания относить К. Шайноху и В. Мацевского к последователям Лелевеля (с. 26). При рассмотрении полемики краковской и варшавской исторических школ едва ли их можно оценивать однозначно. Последняя все-таки боролась с крайне консервативными краковскими учеными. Исторические взгляды А. Л. Погодина, по нашему мнению, правильнее охарактеризовать как либеральные (с. 188). Вызывает возражение вывод о том, что русское буржуазное славяноведение на рубеже XIX—XX вв. развивалось по восходящей линии, т. е. избежало кризиса, присущего всей буржуазной исторической науке того времени (с. 196). Читателям непонятны причины критики в югославской печати одного из разделов (автор В. Дедиер) «Истории Югославии», изданной в этой стране (с. 175). В главе о русском славяноведении упоминаются работы В. И. Герье, С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова, посвященные Польше, но отсутствует их оценка (с. 187). Было бы уместно подчеркнуть полемичность трудов русских буржуазных ученых по польской истории, их стремление обосновать закономерность разделов Польши и доказать беспомощность национально-освободительной борьбы польского народа. Говоря же о Западной Европе и славянстве можно добавить, что интерес к нему, особенно в Польше, возрос в 30-е годы XIX в. под влиянием польской эмиграции. В учебном пособии явно не хватает списка рекомендованной литературы. Такая библиография была

бы очень полезна не только студентам, но и преподавателям периферийных университетов, которые в лучшем случае являются специалистами только по истории одной славянской страны.

Высказанные замечания не ставят под сомнение достоинства рецензируемой книги, квалифицированно выполненного учебного пособия, которого давно ожидали все, кто интересуется славяноведением.

Попков В. С., Косик В. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. Очерки истории исторической науки. Т. I. М., 1955, с. 495—501; Венедик-

тов Г. К. К начальной истории славяно-славянской кафедры в Московском университете. — Советское славяноведение, 1983, № 1, с. 91—100; Лаптева Л. П. К вопросу об основных этапах развития отечественного славяноведения (1835—1985). — Вопросы историографии и истории зарубежных славянских народов. М., 1987, с. 3—17; Никулина М. В. О состоянии и особенностях развития русского славяноведения в первой трети XIX в. — Советское славяноведение, 1983, № 5, с. 86—96; Никулина М. В. Славяноведение в России в первой трети XIX в. — Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. ист. наук. М., 1984; Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. М., 1988.

«Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і культури України. Київ, 1987, 337 с.

«Руська трійця» в історії громадсько-політичного руху і культури України

Общественный подъем на западноукраинских землях в 30—40-х годах XIX в. ознаменовался деятельностью группы «Руська трійця», в которую входили студенты Львовского университета, ставшие выдающимися деятелями культуры — М. Шашкевич, И. Вагилевич и Я. Головацкий. Это было время нарастания политической активности на Украине как части российского освободительного движения, время национального пробуждения славянских народов в Центральной и Юго-Восточной Европе.

История «Руської трійці» привлекала к себе научное внимание, однако работы, написанные с различных методологических позиций, в большинстве случаев носили литературоведческий характер и порой отличались тенденциозностью. В 1987 г. в Киеве в связи со 150-летием выхода в свет альманаха «Русалка Днестрская», составленного Шашкевичем, Вагилевичем и Головацким, издана коллективная монография «„Руська трійця“ в історії громадсько-політичного руху і культури України» (ответственный редактор — Ф. И. Стеблій. Авторский коллектив: В. И. Горынь, О. А. Купчинский, Ф. И. Стеблій, Э. А. Гринив, Д. Г. Гринчишин, Б. В. Завадка, Р. Ф. Кирчив, Б. С. Крива, З. М. Матисякевич, И. В. Паславский, О. А. Полянский, Л. Т. Сеник, С. М. Трусович, М. И. Шалата). Написанная учеными разных специальностей — философами,

историками, этнографами, литературоведами и фольклористами — книга представляет собой комплексное исследование общественно-политической и культурной жизни в Восточной Галиции и на других западноукраинских землях в 30—40-х годах XIX в. и развития прогрессивных традиций тех лет в последующей истории Украины. В марксистско-ленинской историографии это первая работа столь широкого проблемно-хронологического охвата духовного процесса на западноукраинских землях, находившихся в XIX в. под властью Габсбургов.

В монографии раскрыты социально-политические условия и идейные предпосылки возникновения общества «Руська трійця», исследованы его идейно-теоретические основы, показаны направления деятельности — связь членов общества с польско-украинским антикрепостническим подпольем 30-х годов, литературное творчество, вклад в развитие гуманитарных наук на Украине. Главным делом «Руської трійці» было издание в 1836 г. в Бучаке первой на западноукраинских землях книги на украинском языке, проникнутой освободительными и национально-объединительными тенденциями, — альманаха «Русалка Днестрская». Большое место в монографии отведено внутринациональным и внешним личным и творческим контактам основателей общества. обстоятельное освещение получили традиции общества в развитии про-

грессивных направлений украинской общественно-политической мысли и культуры, международный резонанс деятельности группы. В книге показано органичное вхождение демократического наследия «Руської трійці» в духовную культуру украинского народа наших дней.

История «Руської трійці» представлена в монографии как составляющая часть общественно-политического и культурного процесса на Украине в период формирования нации. Она рассматривается в тесной связи с социальной обстановкой в России и Австрийской империи. «Руська трійця» испытала большое влияние польского освободительного движения и национального подъема других славянских народов.

Огромная историческая заслуга Шашкевича, Вагилевича и Головацкого была в том, что они первыми на западноукраинских землях осознали и провозгласили национальную общность всех украинцев и своим творчеством служили их консолидации. При этом деятели «Руської трійці» выступали убежденными сторонниками тесного сближения украинцев с русским народом и сотрудничества с другими славянами. Монография содержит новый фактический материал, расширяющий и обогащающий научные знания по таким важным и сложным вопросам, как концепции славянской общности, программы единения славян и деятельность, протекавшая под знаком объединительных идей в 30—40-х годах XIX в. Стремление решить назревшие социальные и национальные задачи в рамках свободной славянской федеративной республики имело более широкое распространение в передовых кругах славянских стран и земель накануне и в период революции 1848—1849 гг., чем это представлено в историографии. Подобные устремления не были чужды и основателям «Руської трійці». Общеславянские объединительные планы являли одну из форм социальной утопии, но в ней были заключены мощный заряд освободительной деятельности и сплочения прогрессивных сил славян в целях взаимоподдержки и взаимопомощи в борьбе за освобождение.

В связи со стадильной характеристикой культурного процесса на западноукраинских землях, выражением которого стала деятельность «Руської трійці», в монографии рассматривается вопрос о соотношении ее идейно-философского облика с Просвещением и романтизмом. Во введении общество обоснованно рассматривается как наследник достижений

Просвещения и зачинатель «нового этапа в развитии общественной мысли и освободительного движения на западноукраинских землях, в основе которого лежали идеи романтизма» (с. 4). Но в других разделах книги упор делается на синкретизме просвещенческих черт и концепции романтизма в идейно-художественном облике «Руської трійці» как проявлении ускоренного развития духовной культуры на народной основе на Украине в конце XVIII — первой половине XIX в. (с. 42).

Наличие в идейных установках деятелей «Руської трійці» отзвуков Просвещения представляется логическим в плане преемственности культурного процесса и межнационального взаимообогащения.

Конечно, короткая рецензия — не место для решения столь серьезной проблемы, как темпы и особенности культурного развития славян в первой половине XIX в. Однако в качестве предварительного можно высказать мнение, что живучесть рационалистических идей Просвещения в общественном сознании отдельных славянских народов в указанное время скорее следует рассматривать как отражение трудностей их общественного развития, а не ускоренности социальной эволюции.

В монографии дано типологическое сопоставление украинского романтизма, в формирование которого яркий вклад внесли деятели «Руської трійці» и их соратники, с аналогичными явлениями у других народов. Отмечая его близость с русским романтизмом, а также общие черты с соответствующим идейно-художественным направлением у южных и западных славян, авторы подробно останавливаются на особенностях романтизма в его западноукраинском варианте.

Собранный в монографии фактический материал проливает новый свет на события революционных 1848—1849 гг. в Восточной Галиции. Известные до сих пор сведения о политической борьбе, о героическом восстании во Львове рецензируемая книга дополняет данными об активной культурной жизни населения. Тем самым украинский национальный процесс в Восточной Галиции в годы «Весны народов» предстает более насыщенным и разнообразным с точки зрения форм общественной деятельности. Следует сказать, что культурная жизнь в других славянских землях Австрийской империи в годы революции остается слабо изученной.

Останавливаясь на исторической роли

«Руської трійці» в общественно-политическом и культурном развитии Украины, авторы подчеркивают освободительный характер ее деятельности на западноукраинских землях и рассматривают литературное творчество ее участников как «новый шаг в демократизации украинской литературы вообще» (с. 146), как наиболее близкое к революционно-демократическому наследию Т. Г. Шевченко (с. 148).

Можно было бы упрекнуть авторский коллектив за повторения, противоречия в характеристике одних и тех же явлений, быть может, и некоторое преувеличение идейной зрелости «Руської трійці». Однако эти частные недостатки не умаляют научной весомости монографии. Книга о «Руської трійці», насыщенная богатым фактическим материалом, отмеченная его глубоким анализом и содержащая сравнительно-исторические наблюдения и характеристики, существенно

расширяет и уточняет научные знания об общественно-политическом движении на Украине и формировании национальной культуры украинского народа в XIX в. Затрагивая общеславянские проблемы, книга не только способствует более глубокому научному проникновению в эпоху национального пробуждения южных и западных славян, но и побуждает к раздумьям и даже пересмотру устоявшихся, казалось бы, представлений.

Коллективный труд о «Руської трійці» имеет не только строго научное, но и общественное значение, показывает богатый и плодотворный опыт взаимообогащения славянских народов в сфере культуры и общественной жизни на протяжении насыщенного событиями и динамичного XIX в. В центре этих связей была Россия со всей притягательной мощью прогрессивной мысли и демократической культуры.

Лециловская И. И.

Н. В. Коссек. Евангелие Кохно. Болгарский памятник XIII в. София, 1986. 97 с. + 120 л. текста памятника

В издательстве Болгарской академии наук вышло факсимильное издание среднеболгарского кирилловского евангелия XIII в., подаренного в 1879 г. Новороссийскому университету штабс-капитаном А. А. Кохно, по имени которого оно вошло в науку. В настоящее время памятник хранится в Одесской государственной научной библиотеке им. Горького — № 182, шифр 1/3. Издание евангелия Кохно подготовлено Н. В. Коссек, и ей же принадлежит предваряющее публикацию текста исследование, посвященное палеографическим и языковым особенностям памятника.

Изданная рукопись представляет собой краткий апракос (без начала и конца), на полях которого отмечены недельные и праздничные чтения. Указатель по их порядку в евангелии приведен в конце издания, после публикации текста (с. 85—89), а также на каждом листе памятника. Сверх того, дан еще указатель евангельских чтений по евангелистам (с. 90—91), что значительно облегчает использование памятника. Завершают издание резюме на английском и немецком языках.

Исследование Н. В. Коссек начинается с описания палеографии памятника (с. 7—15), выполненного детально и тща-

тельно. Единственное наше замечание касается большого количества опечаток, имеющихся на всех страницах исследования, но особенно досадных в разделах, относящихся к палеографии и фонетике. Затем следуют разделы, в которых внимание автора сосредоточено на тех языковых особенностях издаваемой рукописи, которые позволяют определить ее как среднеболгарский памятник XIII в., отражающий восточноболгарские говоры. Этот общий вывод Н. В. Коссек хорошо обоснован и вполне может быть принят.

Наши замечания, достаточно многочисленные, относятся к тем разделам исследования Н. В. Коссек, которые посвящены языковым особенностям памятника.

Так, в разделе «Фонетические особенности» (с. 15—36) вызывает удивление обширный раздел, посвященный «редуцированным» гласным. Известно, что уже в древнейших памятниках старославянского языка отразились процессы, указывающие на утрату этих звуков в болгарских говорах XI в. Естественно, что в конце XII в., а евангелие Кохно написано никак не раньше этого времени, употребление еров, описанное Н. В. Коссек, — явление орфографии, а не фонетики. В какой-то мере это понимает и автор, когда пишет об «орфографических

нормах» (с. 16) евангелия Кохно. Однако в дальнейшем дается, с нашей точки зрения, избыточное описание употребления слабых и сильных редуцированных как факта фонетических особенностей исследуемого памятника (с. 15—21). К сожалению, здесь встречаются досадные неточности в интерпретации языкового материала. Так, на ряде страниц описывается «утрата» или «сохранение» *ъ* в приставках-предлогах на *з*: *изграда*, *избрах* (с. 16), *изгнати* (с. 19) и др. Однако известно, что эти приставки-предлоги конечного редуцированного не имели [1]. Особенно удивляет утверждение Н. В. Коссека, что «в префиксе *възъ* — конечный *ъ* сохраняется, если корень начинается губными согласными...» (с. 18). Это положение иллюстрируется формами глагола *възънати*, в котором *ъ* относится к корню *-ън-*, а не к префиксу. В случаях типа *възъверати* (с. 18), *изъгнати* (с. 19) следует видеть не «сохранившийся редуцированный», а искусственные написания.

На с. 23 в слове *кровъ*: на *кровѣхъ* (Мф. X. 27) гласный *о* ошибочно возводится к *ъ*. В разделе о гласном *ѣ* та же форма снова интерпретируется не как закономерное окончание местного падежа основ на *-о*, а лишь как влияние этих основ (с. 29). Здесь, как и на с. 23, явное смещение слов *кровъ* и *кръвь*.

В том же разделе ошибочно приведена среди форм род. п. *-ја-* основ с флексией *ѣ* форма *жрътѣ*: *милостыни хоцъ а не жрътѣ* (с. 28). Во-первых, совершенно очевидно, что слово *жрътва* не относилось к йотовой разновидности данного склонения, во-вторых, это — закономерная форма дательного, а не родительного падежа, употребление которого зависело от глагола *хотѣти*.

Раздел «Морфологические особенности» (с. 36—41) очень краток, в нем внимание автора сосредоточено на инновациях разных частей речи. Так, в имени существительном отмечаются случаи смешения склонений. Однако и здесь имеются досадные неточности. Например, род. п. мн. числа *свинии* (с. 37) рассматривается как форма основ на *-i-*, хотя это фонетически закономерное окончание основ *-ја-* от *свинииа* (та же форма в Зогр., Мар., Асс. и Ост. евангелиях). Точно так же форма *гроздие* — Мф. VII. 16 (с. 37) не отражает влияния *-i-* основ, а является именем собирательным *-jo-* основ, как и форма также единственного числа *камень* (тв. п.).

Неясно, почему формы *прикоснѣ сА* и

миж отнесены к формам простого или старого сигматического аориста, а форма *видѣхом* — к формам нового аориста (с. 39). Форма же *да...приимѣ* — Ио. X. 17 (с. 39) — вообще не аорист.

В разделе, посвященном синтаксису (с. 41—47), автор пишет, что «следует прежде всего обратить внимание на особенности управления», хотя в евангелии Кохно оно в основном «остается таким же, как в известных канонических текстах старославянского языка» (с. 41). К сожалению, и этот раздел не лишен недостатков. Так, на примере *прикоснѣ сА очию има* (с. 41) утверждается возможность управления глагола *прикоснѣти сА* дательным падежом. Но дательный падеж *има* является дательным притяжательным и определяет форму *очию* (мест. п.). Аналогичный пример: *очи наю именно так* квалифицирует сам автор (с. 42).

Вряд ли предложение *нѣсть рабѣ бо-леи га своего ни слѣ болеи послашааго и* (с. 43) может служить иллюстрацией отрицательной конструкции с род. п. прямого дополнения: в нем употребление род. п. обусловлено сравнительной степенью.

Один и тот же пример *чти оца и мѣре* — Мф. XIX.19 на разных страницах определяется по-разному: на с. 41 утверждается, что глагол *чтити* управляет род. п., а на с. 43 форма *отѣца* определяется как вин.-род. п. А ведь это разные синтаксические явления!

Отрицательные конструкции выделены автором в отдельную главу (с. 47—61), представляющую перепечатку ранее опубликованной статьи [2]. На фоне очень кратких глав по морфологии и синтаксису она представляется неоправданно подробной.

Справедливо заметив, что «палеографические, фонетические и грамматические особенности у всех среднеболгарских рукописей восточной ориентации отличаются в целом единообразием», Н. В. Коссек считает, что «именно лексический материал дает возможность проследить те индивидуальные черты, которые выделяют данный памятник среди других памятников рассматриваемой эпохи» (с. 62). В целом разделы, посвященные лексике (с. 61—79) и словообразованию (с. 79—84), замечаний не вызывают, а выводы автора представляются вполне убедительными. Отметим только в чтении Мф. III.4 весьма показательную замену обычных канонических *акридѣ* или *прѣгѣ* словом *лѣторасль*. Эта замена, с нашей точки

зрения, не является «произвольно выбранным славянским выражением» (с. 76), а отражает ту точку зрения раннехристианских экзегетов, по которой Иоанн Предтеча питался растениями, а не насекомыми [3].

Обобщая все изложенное, рецензент совершенно согласен с Н. В. Коссеком в том, что языковые особенности евангелия Кохно «еще ждут подробного исследования» (с. 7). Вместе с тем он вполне разделяет убеждение ответственного редактора К. Куева, что изданный памятник представляет значительный научный

интерес и, конечно, привлечет к себе внимание славистов¹.

Иванова Т. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951, с. 124.
2. Коссек Н. В. Семантика и синтаксис отрицания в евангелии Кохно.— Старобългаристика, 1982, № 4, с. 51—57.
3. Иванова Т. А. Слав. *абрѣвь* (К вопросу о значении и этимологии).— Этимология. 1979. М., 1981, с. 51—58.

¹ К сожалению, в том экземпляре, каким располагал рецензент, оказались пропущенными листы с 89 по 96. Вы скажем надежду, что наш дефектный экземпляр является единственным.

George P. Majeska. Russian travelers to Constantinople in the fourteenth and fifteenth centuries, Washington, 1984, 463 p.

Джорж П. Маеска. Русские путешественники в Константинополь в XIV и XV веках

Рецензируемая книга принадлежит к числу тех изданий, научное значение и практическая ценность которых обнаруживают себя буквально со дня выхода из печати. Этому способствует содержание и общая структура исследования, позволяющие максимально использовать развернутые комментарии, во многих случаях опирающиеся на новейшие данные исторической науки.

Джорж П. Маеска предпринял научно-критическое издание описаний Константинополя, сделанных русскими путешественниками в XIV и XV вв., опубликованных в конце XIX в., но без учета тех многочисленных списков, которые использовал американский исследователь. Правда, и он, по независящим от него причинам, не смог ознакомиться со всеми рукописями в оригинале. Но и накопленных материалов оказалось вполне достаточно, чтобы осуществить их разностороннее изучение, впервые проводимое со времени появления работы Н. И. Прокофьева [1].

Автор исследования четко сформулировал свои задачи, и уже во вступлении выразительно и лаконично осветил христианское паломничество как таковое, паломничество на Руси, описания русских «хождений» и исторический фон, на котором проходили посещения «Нового Рима». Надо отметить, что во время подготовки книги Маески к печати вышло в свет исследование Е. Д. Ханта, рассматривающее зарождение паломничества в Иерусалим на Востоке и Западе

в позднеримский или ранневизантийский период [2].

Содержание книги Маески составляют две части, охватывающие 15 имеющих сквозную нумерацию глав. Первая часть дает русские тексты описаний путешествий в Константинополь и их английский перевод, вторая — комментарии к описаниям различных сооружений в византийской столице. Далее следуют библиографическая заметка, посвященная основным работам по топографии Константинополя, и индекс произведений, различных предметов, географических названий и имен, а также ключ к карте города.

В первой части находятся произведения русских паломников: «От странника Стефанова Новгородца», «Хождение Игнатия Смолчянина», анонимное «Сказание о святых местах, о Костянтинеграде и о святых мощех спасшихся во Иерусалиме, а собранных Костянтином царем в нарицаемый Царьград», «Хождение дьяка Александра в Царьград» и «Книга глаголема Ксенос сиречь Странник Зосимы диакона о руском пути до Царяграда и до Иеросалима». Каждый из перечисленных памятников имеет содержательное введение, характеризующее описание путешествия как исторический и литературный документ (свидетельство), дающее обзор рукописей, изданий и переводов, представление о рукописной традиции, иногда довольно сложной (как сочинения Игнатия Смолчянина или анонимного «Сказания о святых местах»).

Публикация оригинального текста сопровождается разночтениями по другим спискам, а перевод — многочисленными примечаниями, уточняющими детали повествования. Первые издатели анонимного «Сказания о святых местех», как известно, датировали его концом XIII — началом XIV в., но К. А. Манго впоследствии привел доказательства в пользу появления этого произведения между концом 1389 и началом 1391 г. [3]. Маеска считает вероятной принадлежность текста новгородскому автору и датирует памятник (известный и как «Беседа о святых Цареграда») началом 1390-х годов.

В специальной литературе, посвященной памятникам искусства Константинополя, свидетельства русских путешественников (в том числе и побывавшего там до 1204 г. Антония Новгородского) привлекались неоднократно. Однако лишь в книге Маески они получили строгую и законченную систематизацию, благодаря чему вместе с данными археологических исследований последних десятилетий они обнаружили свою ценность и достоверность. Побывавшие в «городе чудес» паломники стремились зафиксировать все, что представлялось им достойным внимания и восхищения. Насколько далеко простиралась любознательность авторов описаний из Московской Руси говорит уже свод их данных о храме Св. Софии, ее реалиях и чудесах, окружавших многие находившиеся там достопримечательности. Внимание русских путешественников привлекали также императорский дворец и окружавшие его острейки, ипподром, различные кварталы столицы с их многочисленными храмами и монастырями с находившимися

там реликвиями. Нередко один автор существенно дополняет новыми подробностями повествование другого. Комментированная сводка, осуществленная Маеской, позволяет использовать ее в качестве справочника, тем более что она отражает и степень достоверности тех или иных известий. Особая глава посвящена маршруту по Константинополю Игнатия Смолянина, сопровождавшего в путешествии митрополита Пимена; в следующей главе речь идет о политических событиях в столице в 1390—1391 гг., и в заключительной — о короновании Мануила II в 1392 г., описанном различными авторами.

Оценивая обширное исследование Маески, следует особо подчеркнуть тщательность и весьма широкую научную эрудицию автора, позволяющую ему привлекать разнообразные источники, на фоне которых сочинения русских путешественников XIV—XV вв. в полной мере обнаруживают свои достоинства. Эта книга сразу же по выходе ее из печати сделалась незаменимым пособием для всех, кто изучает культуру Византии ее последнего периода.

Пуцко В. Г.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Прокофьев Н. И.* Русские хождения XII—XV вв.— Уч. зап. Московского педагогического института им. В. И. Ленина. 1970, вып. 363, с. 3—264.
2. *Hunt E. D.* Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire AD 312—460. Oxford, 1982.
3. *Mango C.* The Date of the Anonymous Russian Description of Constantinople.— *Byzantinische Zeitschrift*, 1952, Bd. 45, p. 380—385.



ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

Л. Славева, В. Мошин. Српски грамоти од Душаново време. Прилеп, 1988, 238 с.

Л. Славева, В. А. Мошин. Сербские грамоты эпохи Стефана Душана

В научной литературе и обыденном нашем историческом сознании период значительного усиления феодального Сербского государства, примерно совпадающий с временем правления Стефана Душана (1331—1355), преимущественно ассоциируется лишь с одним, хотя и весьма важным памятником — Законом Стефана Душана. Но в действительности реальная возможность для ученых более подробно представить внешне- и внутриполитическую историю Сербии XIV в. обеспечена наличием многочисленных грамот правительства Душана, пожалованных светским и церковным феодалам, подвластным городам и соседним государствам. Более ста лет назад, в 1888 г., в Киеве вышло фундаментальное исследование проф. Т. Д. Флоринского «Памятники законодательной деятельности Душана, царя Сербов и Греков», в котором автор представил известные к тому времени 80 грамот Стефана Душана, подчеркнул «высокую историческую важность этих памятников», наметил перспективы анализа данных источников и возможность обнаружения новых актов той поры. За истекший век в этой области сербской дипломатики было многое сделано Ст. Новаковичем, А. В. Соловьевым, В. А. Мошиным и другими медиевистами, однако все же и здесь предстоит осуществить более точное и полное издание этих документов, уточнить их достоверность, датировки, проверить высказанные выводы, столь значимые для воссоздания прошлого Сербии. Итогом проделанной за сто лет работы и служит прекрасно изданная Институтом по изучению старославянской культуры (г. Прилеп, СФРЮ) монография-альбом, подготовленная В. А. Мошиным совместно с его ученицей

Л. Славевой. Книга содержит характеристики (более или менее подробные) 77 документов эпохи Душана, которые авторами распределены в 19 «комплексов» или групп. Характеристика грамот дается по следующей системе: описание, сведения об изданиях и фотоснимках, изложение основных частей акта и его содержания, дата или примерная датировка, воспроизведение (у сохранившихся — с прорисью) подписи, в некоторых случаях — факсимильные фотоснимки всей грамоты или же некоторых ее частей, либо печати. При анализе этих дипломатических элементов и спорных проблем авторы опираются на имеющиеся специальные работы, однако сам состав, структура книги, отдельные выводы (по датировкам, принадлежности актов и т. п.) нередко оставляют впечатление незавершенности, иногда — спорного решения без учета всего комплекса высказанных в историографии точек зрения. Само сопоставление числа известных, например, Т. Д. Флоринскому, и включенных в данный альбом грамот той поры (т. е. 80 и 77, причем Л. Славева и В. А. Мошин учитывают здесь также и проекты и фальсификаты) заставляет поставить вопрос: почему не включены некоторые, давно известные акты (скажем, Котору, Дечанам), не учтены важные коррективы, сделанные А. В. Соловьевым по поводу акта о Коришской метохии (см. [1]) (ср. в данном альбоме с. 84, 86). Вызывает сомнение и поспешная оценка, которая дана последней, 77-й грамоте. Она была пожалована не церкви в Бане, а монастырю в Баньской. Кроме того, не раскрывается история ее обнаружения и публикации. Вероятно, следовало печатать полный текст не этой грамоты, а других, более ценных

и содержательных. В этой связи хотелось бы подчеркнуть настоятельную необходимость дальнейших углубленных исследований по сербской дипломатике и скорейшего издания «Сербского средне-

векового дипломатия», первый том которого уже подготовлен.

Наумов Е. П.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гласник Скопског научног друштва. Кн. II. 1927, с. 296.

Вера Лихачова. Этюди по средновековно изкуство: Византия / България / Русия. Съставителство, предговор и превод от руски език Е. Бакалова. София, 1986, 239 с.

Вера Лихачева. Этюды по средневековому искусству: Византия / Болгария / Россия. Составление, предисловие и перевод с русского языка Э. Бакаловой

В Болгарии издан сборник избранных искусствоведческих работ В. Д. Лихачевой (1937—1981), переведенных на болгарский язык искусствоведом Э. Бакаловой, перу которой принадлежит и предисловие с лаконичной и яркой характеристикой научного вклада автора «Этюд» по средневековому искусству». Объединение в одной книге исследований по искусству Византии, Болгарии и Руси не только характеризует научный диапазон В. Д. Лихачевой, но и отражает широту средневекового культурного процесса, делавшего славянские народы активными участниками художественной жизни Византии. Впервые здесь собраны статьи, написанные в разное время и рассеянные по страницам журналов и сборников, главы из монографий автора.

Издание «Этюд» в Софии следует расценивать прежде всего как проявление интереса к научному наследию одного из современных советских искусствоведов-византинистов. Здесь помещены прежде всего те работы В. Д. Лихачевой, которые характеризуют ее самостоятельный вклад в науку, ее творчество, каким оно представляется нам, ее современникам.

Расположение 13-и включенных в сборник работ таково, что читатель последовательно знакомится с наследием различных эпох духовной культуры Византии, памятниками болгарского книжного искусства, с художественной традицией древней Руси (раздел написанной вместе с акад. Д. С. Лихачевым книги [1]).

Статья «Традиции античного искусства в ранневизантийской станковой живописи», посвященная двум хранящимся в Киеве иконам, выполненным в технике энкаустики, связывает эти памятники с Константинополем VI в.

«Связь искусства и обряда в Константинополе второй половины XI в.» — раздел монографии В. Д. Лихачевой [2]. Вопросы связи искусства и обряда в Византии впоследствии получили широкое освещение в книге Хр. Вальтера [3]. К числу теоретических работ В. Д. Лихачевой принадлежит статья «Взаимодействие иконографического канона и художественного стиля в палеологовской живописи Византии». Впервые публикуется на славянском языке напечатанная в 1972 г. по-английски статья «Иллюминация греческой рукописи Акафиста Богородице (Москва, ГИМ, Сип. греч. 429)», освещающая один из самых блестящих памятников поздневизантийского книжного искусства. В статье 1969 г. «Судьба одной византийской книги (Рукопись Гос. Публичной библиотеки в Ленинграде, греч. 118)», вопреки принятой тогда датировке кодекса XII в., изображения евангелистов отнесены к рубежу XIII—XIV вв. Позднее греческий искусствовед И. Спатаракис включил упомянутый кодекс в ряд вполне определенных образцов книжного искусства эпохи Палеологов [4]. «Роль византийских традиций в художественном оформлении греческих рукописей второй половины XV—XVI столетий» завершает первый цикл статей в сборнике.

Посвященная проблемам генезиса древнекиевской миниатюры статья «Византийские источники архитектурных фронтисписов Изборника 1073 г.» уже вскоре после появления ее в печати получила отклик в специальной литературе [5]. «Болгарская миниатюра второй половины XIV в. с изображением Иоанна Климаса» может служить образцом проникновенного анализа внешне скромного памятника. Впервые здесь печата-

ются важные для уяснения путей усвоения византийского наследия болгарскими иллюминаторами рукописей работы «Роль византийской рукописи XI в. как образца для болгарского, так называемого „Лондонского“ Евангелия Иоанна Александра XIV в.» и «Национальные особенности миниатюр Лондонского Евангелия Ивана Александра». Интересными наблюдениями отмечены статьи «Соотношение миниатюр „Лондонского“ и „Елисаветградского“ Евангелий» и «Изображение иконоборцев и иконопочитателей на листах Киевской Псалтыри». Завершает сборник, как уже сказано, широкий и многоплановый раздел книги «Художественное наследие древней Руси и современность». В конце помещен список трудов В. Д. Лихачевой.

Издание изысканно оформлено и щедро иллюстрировано черно-белыми и цветными репродукциями, причем во многих

случаях памятники воспроизводятся в цвете впервые. Издание рецензируемого сборника работ В. Д. Лихачевой заслуживает самой высокой оценки и признательности всем тем, кто был причастен к его осуществлению.

Бочкарева М. Н.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лихачева В. Д., Лихачев Д. С. Художественное наследие древней Руси и современность. Л., 1971.
2. Лихачева В. Д. Искусство книги. Константинополь, XI век. М., 1976.
3. Walter Chr. Art and Ritual of the Byzantine Church. London, 1982.
4. Spatharakis I. An unusual iconographic type of the seated evangelist. *Delation tes Christianikes Archaialogikes Hetaireias*, 1981, t. 10, p. 137—146.
5. Луцко В. Об источниках миниатюр Изборника Святослава 1073 года. — *Etudes balkaniques*, 1980, № 1, p. 101—119.

Лицеј 1838—1863. Зборник докумената. Приредио Р. Љушић. Београд, 1988, 713 с.

Лицей. 1838—1863. Сборник документов. Составитель Р. Люшич

Рецензируемый сборник — это первая публикация из задуманной многотомной документальной серии, которая охватит весь период истории белградского университета от Лицея до наших дней. Книга появилась в год 150-летия основания университета в Белграде и стала заметным событием в публикаторском деле югославской исторической науки.

Она посвящена первым шагам в развитии сербской высшей школы — открытию Лицея и включает документы за период с 1838 по 1863 гг. Открывают сборник архивные свидетельства о сделанных еще в 1835 г. князю Милошу Обреновичу предложениях об учреждении в Сербии Академии, гимназий и школ, на основании которых можно судить о налаживании национального высшего образования в сербском княжестве, получившем в 1830 г. автономное самоуправление. Документы этой публикации, наряду с другими, уже известными, призваны помочь исследователю данной эпохи всесторонне осветить деятельность молодого сербского княжества, которое в первую очередь нуждалось в образованных людях, способных служить своему государству. Первостепенную важность имеют эти материалы и для создания самостоятельного труда по истории белградского университета.

Составитель сборника сербский ученый Р. Люшич безусловно проделал огромную работу по выявлению, научной обработке и комментированию документов. В кратком введении в издание Р. Люшич излагает принцип отбора документов, а также дает их классификацию. Составитель обращает внимание на обилие архивных источников по данному периоду в нескольких архивохранилищах Белграда, Крагуевца и Нови Сада. Однако основу сборника составили документы из Архива Сербии, подобранные по принципу их значимости и разнообразия, что позволит исследователю школьного дела в Сербии получить представление о научной, педагогической и хозяйственной жизни Лицея. Подбор преподавательского состава при открытии учебного заведения, докладные записки о степени подготовленности поступающих в него студентов, описание лицейских празднеств и другое — все эти документальные свидетельства рисуют яркую картину становления и развития первого высшего учебного заведения Белграда.

Новый документальный сборник истории университета без сомнения привлечет внимание историков и найдет широкое применение в их исследованиях.

Кудрявцева Е. П.



ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ СЛАВИСТА

В апреле 1988 г. научная общественность отметила 100 лет со дня рождения выдающегося советского языковеда Леонида Арсеньевича Булаховского. В ознаменование этой даты конференции, посвященные памяти ученого, прошли в Киеве, Харькове и Праге.

18 марта 1988 г. состоялась конференция в Харьковском государственном университете. Л. А. Булаховский родился в Харькове, здесь же закончил университет, с которым было связано начало его научной и педагогической деятельности. На пленарном заседании с докладами о жизни и творчестве ученого выступили Г. И. Шкляревский и М. Г. Зельдович. Актуальные вопросы русистики и украинистики освещались в выступлениях Н. И. Сукаленко, И. В. Муромцева, А. Я. Опришко, М. И. Филона, И. П. Михальчука, заслушанных на заседании языковедческой секции. Работала также секция литературоведения.

14 апреля 1988 г., в день рождения ученого, в Киеве состоялось торжественное собрание Отделения литературы, языка и искусствоведения Академии наук УССР. Вступительное слово произнес председатель собрания акад. АН УССР В. М. Русановский. Он отметил, что в истории украинской советской культуры имя Л. А. Булаховского стоит рядом с именами П. Тычины, М. Рыльского, А. И. Белецкого. Они были современниками и соратниками. Благодаря их деятельности углублялись и укреплялись связи между украинской культурой и культурами других народов, расширялись горизонты украинской славистики. Первым председателем Украинского комитета славистов стал Л. А. Булаховский. Работы Л. А. Булаховского в области славистики, истории русского и украинского литературных языков, культуры речи сохраняют свою ценность и актуальность. Жизнь и деятельность ученого являют собой высокий образец служения народу.

С воспоминаниями о Л. А. Булаховском как ученом и педагоге выступил акад. АН УССР Л. Н. Новиченко. Студентом Харьковского университета он слушал лекции Л. А. Булаховского. В памяти слушателей он остался блестящим лектором, артистичным и ироничным, с великодушным чувством юмора. Научные работы Л. А. Булаховского обнаруживают тонкое художественное чутье и вкус исследователя. В книге «Русский литературный язык первой половины XIX ст. (Лексика и некоторые соображения о слоге)» он касается природы художественного творчества. Докладчик высказал мысль о том, что в истории советской филологической науки, наряду, например, с ленинградской школой, представленной именами М. М. Бахтина, Ю. Н. Тынянова, Б. Эйхенбаума, В. М. Жирмунского, Л. П. Якубинского, очевидно, правомерно выделить и киевско-харьковскую школу А. И. Белецкого, Л. А. Булаховского, Н. К. Гудзия.

Один из учеников Л. А. Булаховского, чл.-корр. АН УССР А. П. Непокупный выступил с докладом о творческих интересах ученого в области славистики и баллистики, а также в сфере занимавшей его на протяжении всей жизни проблемы «Язык и искусство», понимаемой в духе традиций А. А. Потемби и Д. Н. Овсянко-Куликовского. Докладчик отметил, что Л. А. Булаховский последовательно отстаивал позиции сравнительно-исторического метода. В 30—40-е годы, во время господства «нового учения о языке» Л. А. Булаховский продолжал работать как компаративист. Благодаря высоким моральным качествам и научной принципиальности таких ученых, как Л. А. Булаховский, традиция сравнительно-исторических исследований не была окончательно прервана.

О вкладе ученого в изучение балто-славянских языковых контактов, о его связях с латышскими и литовскими языковедами говорилось в выступлениях чл.-корр.

АН Латвийской ССР А. Я. Блинкина и проф. Вильнюсского университета Й. Палёниса. Й. Палёнис рассказал о переписке Л. А. Булаховского с К. Бугой и высказал предложение опубликовать ее.

Характеристике исследований Л. А. Булаховского в области украинистики был посвящен доклад Т. Б. Лукиновой, освещающий основные направления научной и методической деятельности ученого¹.

Наряду с работами в области славистики и украинистики, большое место в творчестве Л. А. Булаховского заняли труды по русистике. В докладе «Актуальные проблемы русского языкознания в работах Л. А. Булаховского» М. А. Карпенко охарактеризовал чрезвычайно широкую сферу интересов ученого: он исследовал языковые средства юмора и проблемы русской морфологии, слова-омонимы и вопросы русской пунктуации, стилистический синтаксис, литературное ударение, язык произведений А. С. Пушкина, А. П. Чехова, русских поэтов Т. Г. Шевченко и т. д. Л. А. Булаховский создал ряд работ обобщающего типа по современному русскому языку и его истории. «Курс русского литературного языка» и «Исторический комментарий к русскому литературному языку», задуманные как вузовские учебники, явились по существу фундаментальными монографическими исследованиями обширного лингвистического материала в оригинальной авторской интерпретации. В то же время это был новый тип учебников для высшей школы, ставший моделью для последующих пособий. Докладчик отметил работы Л. А. Булаховского по деэтимологизации в русском языке, а также монографию «Русский литературный язык первой половины XIX в.». В исследованиях по лингвостилистике, теории художественной речи проявилась цельная лингвостилистическая концепция автора. В заключение была охарактеризована деятельность ученого в области методики преподавания русского и украинского языков, его участие в национально-языковом строительстве.

Завершило собрание выступление Ю. Л. Булаховской «Из наблюдений над языком современной художественной публицистики и эссеистики», освещающее функционирование некоторых образных средств, характерных для современной украинской публицистики как литературного жанра.

¹ См. публикацию Т. Б. Лукиновой в № 3 1989 г. «Советского славяноведения» (Ред.).

17 мая 1988 г. славистическая конференция в честь 100-летия со дня рождения Л. А. Булаховского состоялась в Праге. В организации конференции приняли участие филиал Института русского языка им. А. С. Пушкина при Доме советской науки и культуры в Праге, кафедры русистики и чешского и словацкого языков Карлова университета, отдел чешского языка Чехословацкой АН. Вступительное слово произнес Б. Фоминых. С докладом «Л. Булаховский — выдающийся славист» выступил Я. Моравец. Творчеству А. А. Потебни было посвящено выступление В. Грабе. О. Лешка охарактеризовал вопросы акцентологии славянских языков в трудах ученого. Проблемы синтаксиса западнославянских и восточнославянских языков рассматривались в докладе Н. Савицкого. Работа Л. А. Булаховского «Славянские наименования птиц» явилась отправной точкой исследования Р. Шишковой, сделавшей доклад на тему «Славянские названия птиц в украинско-чешском контексте». Были заслушаны и другие сообщения.

Ряд научных конференций, которыми филологическая общественность отметила 100-летие со дня рождения Л. А. Булаховского, завершился республиканскими научными чтениями, состоявшимися 23—24 мая 1988 г. в Киевском университете им. Т. Г. Шевченко. За два дня напряженной работы участники заслушали более 20 докладов, посвященных характеристике отдельных сторон жизни и деятельности Л. А. Булаховского, его многогранного творческого наследия, а также актуальным проблемам современного языкознания, рассмотренным в свете идей ученого.

Чтения открылись вступительным словом декана филологического факультета П. П. Кононенко. Далее с докладом «Л. А. Булаховский — исследователь украинского языка» выступил А. И. Белодед. Он подчеркнул, что Л. А. Булаховский был последователем и продолжателем идей представителей харьковской лингвистической школы — А. А. Потебни, Д. Н. Овсяннико-Куликовского, М. Ф. Сумцова, С. М. Кульбакина, Г. А. Ильинского. Большое влияние на становление исследователя оказали работы А. А. Шахматова. Докладчик охарактеризовал основные направления работы ученого в области украинистики, а также его широкую педагогическую, методическую и общественную деятельность. В конце выступления А. И. Белодед поделился своими воспоминаниями о Л. А. Булахов-

ском как человеке, подчеркнул его личное обаяние, а также необычайно внимательное отношение ученого к своим ученикам. С воспоминаниями о Л. А. Булаховском как педагоге и методисте выступила Ю. Л. Булаховская, указавшая, в частности, на ряд ценных соображений ученого, касающихся методики преподавания родного и неродного языков.

Подробная характеристика основных проблем славистики в научном наследии Л. А. Булаховского с позиций сегодняшнего дня науки прозвучала в докладе Т. Б. Лукиновой².

Теме «Л. А. Булаховский и сравнительно-историческое языкознание» было посвящено выступление С. В. Семчицкого. Л. А. Булаховский был принципиальным сторонником сравнительно-исторического метода, сохранявшим верность своим взглядам и при неблагоприятных для компаративистики обстоятельствах. Убедительно отстаивая действительные, проверенные историческим опытом заслуги метода, Л. А. Булаховский обращал при этом внимание и на присущие сравнительно-историческому методу недостатки. Его работы в области славистики являются ярким примером творческого использования сравнительно-исторического метода, именно поэтому они сохраняют свое значение и в наше время.

В докладе «Художественное слово Т. Г. Шевченко в оценке Л. А. Булаховского» Т. К. Черторыжская охарактеризовала особенности лингвостилистических исследований ученого на материале его работ о произведениях Т. Г. Шевченко. Тонкий анализ лингвостилистических черт русских поэм Т. Г. Шевченко «Слепая» и «Тризна» позволил Л. А. Булаховскому высказать свои соображения о значении русского языка в жизни и творчестве Т. Г. Шевченко, об использовании поэтом церковнославянской литературы и фольклорной лексики и затронуть другие дискуссионные вопросы шевченковедения.

Н. С. Зарицкий, выступивший с докладом «Проблемы языковой диахроники в свете идей Л. А. Булаховского», представил типологию рефлексации исторического вокализма русских глагольных и именных корней, разработанную в соответствии с принципами и методикой, содержащимися в творческом наследии Л. А. Булаховского. В связи с этим были установлены разные степени семантической близости апофонических корней,

определены различные виды наполненности вариативными единицами разных типов и моделей.

По мнению Л. И. Шаховой, прозвучавшему в ее выступлении «Тематическая группа слов в интерпретации Л. А. Булаховского», ученый стоял у истоков исследования тематических групп лексики, о чем свидетельствует его работа «Славянские наименования птиц». Наблюдения ученого можно расценивать как один из первых примеров сопоставительного исследования лексико-семантической группы слов, ее комплексного семиологического изучения. Вопросам языковых контактов на лексическом уровне был посвящен доклад А. А. Бондаренко, в котором развивался тезис Л. А. Булаховского о необходимости различения положительных и отрицательных результатов языкового взаимодействия. Автор рассмотрел примеры отрицательных лексических заимствований, создающих речевую избыточность и приводящих к затруднению акта коммуникации. О развитии идей Л. А. Булаховского о процессах деэтимологизации говорилось в докладе Е. К. Абрамовой, указавшей на факторы, влияющие на распад этимологических гнезд. Анализ особенностей стилистической интерпретации терминологической лексики в современной украинской поэзии содержался в выступлении В. И. Ярмач. Вопросы лингвистики были затронуты в докладе Л. И. Колоколовой и С. П. Денисовой «Концепция интимизации в трудах Л. А. Булаховского».

В докладе Л. А. Кадомцевой «Л. А. Булаховский о детской речи» было отмечено, что некоторые замечания ученого о свидетельствах детской речи, о собственно детском речетворчестве при внимательном прочтении обнаруживают созвучность современным психолингвистическим подходам и могут оказаться полезными при разработке новых методов обучения родной и неродной речи.

Первый день работы чтений завершился выступлением М. П. Карпенко, содержащим характеристику работ Л. А. Булаховского в области русистики.

Несколько докладов, прочитанных на второй день чтений, содержали разработку синтаксических проблем. Понятие «сверхфразное единство», выдвинутое Л. А. Булаховским, проанализировали в своих выступлениях Н. В. Молотаева, А. Е. Пивоваров, А. Ф. Папина, затронувшие различные стороны этой проблемы и охарактеризовавшие современные

² См. прим. 1 (Ред.).

задачи ее исследования. Вопросам понятия синтаксической связи в терминах Л. А. Булаховского был посвящен доклад И. К. Кучеренко, в котором он отметил постоянное внимание Л. А. Булаховского к вопросам терминологии, к точному определению понятий.

О фонетических исследованиях Л. А. Булаховского шла речь в выступлениях Н. П. Плющ и Л. С. Ковалевой. Н. П. Плющ подчеркнула, что Л. А. Булаховский толковал термин «фонетика» расширительно, включая в нее и изучение просодических характеристик. Результаты, полученные Л. А. Булаховским при изучении фразовой интонации, в настоящее время находят экспериментальное подтверждение. Л. С. Ковалева проанализировала развитие тезиса о значении сибилантов для относительной хронологизации языков, а также обратила внимание на общую концепцию биологического аспекта речи в трудах Л. А. Булаховского.

В докладе Л. П. Дядечко «Фразеологическая концепция Л. А. Булаховского и исследование процесса фразеологизации» было рассмотрено влияние средств массовой коммуникации на появление новых фразеологизмов. Системно-структурному, функциональному и истори-

ческому подходам к анализу местоимений было посвящено сообщение Е. А. Селивановой.

В творческом наследии Л. А. Булаховского значительное место занимают исследования, касающиеся отдельных западно- и южнославянских языков. На чтениях прозвучало несколько докладов по этой теме. Вклад Л. А. Булаховского в разработку проблем болгаристики, его работы по акцентологии и лексикологии болгарского языка стали предметом доклада И. А. Стоянова «Л. А. Булаховский и болгарский язык». В докладе Т. А. Черныш «Полонистика в наследии Л. А. Булаховского» было показано значение работы ученого для теоретического и практического изучения польского языка в вузе, а также доказательно аргументировано положение о целесообразности использования сравнительно-исторического комментария в практической лингводидактике. С докладом «Сербский эпос в научной интерпретации Л. А. Булаховского» выступила Н. А. Непорожня.

Работу чтений завершило широкое обсуждение докладов.

Яворская Г. М.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Kraków, 1988, 283 s., 8 ark. il.

Kultura i umetnost.— Beograd, 1988.— (Statist. bil. / SFRJ. Savezni zavod za statistiku: Br. 1654). 1986, 56 s.

Literary studies in Poland—Etudes littéraires en Pologne / Pol. akad. nauk. Inst. badań lit.; Ed. Dziechcińska H. Wrocław ets., 1988, 121 p.

Olesik J. Oflag II C. Woldenberg. Warszawa, 1988, 366 s., 12 ark. il.

Politisches System und Sozialismusewicklung in den Ländern der sozialistischen Gemeinschaft / Wiss. Red. Karle H.-M., Weiß R.; Akad. für Gesellschaftswiss. beim ZK der SED. Berlin, 1988, 80 s.

Polityka społeczna wobec drugiego etapu reformy gospodarczej. Materiały z konferencjum polityków społecznych / Akad. nauk społecznych PZPR. Warszawa, 1988, 141 s.

Problemy teorii dramatu i teatru / Wybór opracowanie: Degler J. Wrocław, 1988, 490 s., il.

Rogatko B. Linie przerywanie: O literaturze polskiej XX wieku. Łódź, 1988, 263 s.

Rohárik P. Terminológia remeselníckej výroby v Nadlaku. Martin, 1988.

C. I. Remeslá zamerané na potreby poľnohospodárskej výroby, 477 s., il.

Seli I. Jožef Sekač: Srpske nar. lirske i epske pesme. Novi Sad, 1988, 85 s.

Sikorova E. Ludmila Purkyňová. Br., 1988, 158 s., il.

Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska / Pol. akad. nauk. Kom. językoznawstwa etc.; Pod red. Borka H. Warszawa, Wrocław, 1988.

T. 4. H—Ki. 112 s.

Sosnkowski K. Cieniom września. Warszawa, 291 s., 7 ark. m.



Владимиру Анатольевичу Дьякову, доктору исторических наук, профессору, автору почти трехсот научных работ, 14 июня 1989 г. исполнилось 70 лет. Основами своей будущей профессии В. А. Дьяков овладевал в стенах Московского Государственного историко-архивного института, студентом которого он стал в 1938 г., приехав в столицу из станицы Прохладной (ныне Кабардино-Балкарская АССР), где прошли его школьные годы. Война, а после ее окончания служба в Советской армии (до 1952 г.) усложнили путь Дьякова в науку. Только в 1954 г. он становится аспирантом Московского областного педагогического института по специальности история СССР.

Поворот В. А. Дьякова от рустистики к изучению истории Польши, а через нее к славистике происходит в бытность его археографом сначала ЦГВИА, затем ГАУ СССР и окончательно закрепляется в 1960 г. переходом в Институт славяноведения АН СССР (ИСБ). Здесь на фундаментальной источниковой базе написаны монографии о революционном движении в русской армии (в соавторстве с И. С. Миллером) и биографический словарь на две тысячи персоналий, серия работ о смысловых поляках, книги о З. Сераковском, Я. Домбровском, В. Врублевском, П. Сцегенном. Архивные изыскания неоднократно выводили Владимира Анатольевича на историко-литературные сюжеты. Так родились книги «Тарас Шевченко и его польские друзья», «Дело Мигурских», где воспроизводится исторически достоверная канва известной повести Льва Толстого «За что?», очерк «Каторжные годы Достоевского» (опубликован в сильно сокращенном виде). В. А. Дьяков — один из руководителей недавно завершенной 25-томной серии материалов и документов по восстанию 1863 г., продолжающейся серии по истории российско-польских общественно-культурных связей XIX — начала XX в., инициатор и активный участник издания источников по Нерчинской каторге.

Значителен вклад В. А. Дьякова в планомерную разработку истории отечественной и зарубежной славистики. Являясь в 1975—1988 гг. заведующим сектором историографии ИСБ АН СССР, Владимир Анатольевич руководил подготовкой восьми историографических сборников, трех библиографических словарей, коллективного итогового труда по истории русской дореволюционной славистики, работы о становлении марксистской историографии в европейских социалистических странах.

Славяноведение В. А. Дьяков неизменно рассматривает в широком историческом контексте эпохи. В настоящее время им подготовлена большая монография о славянском вопросе в дореволюционной России, в которой представлена широкая панорама взглядов нескольких поколений русских общественных деятелей и мыслителей.

Многие работы ученого посвящены изучению марксистско-ленинского наследия по польскому вопросу, а также общеметодологическим проблемам истории, теоретическим аспектам перехода от феодализма к капитализму на землях Центральной и Юго-Восточной Европы.

В. А. Дьяков является председателем международной комиссии по истории славистики, членом редколлегии журналов «Вопросы истории» и «Советское славяноведение».

Многоплановая деятельность Владимира Анатольевича на научном поприще получила международное признание. К боевым орденам старшего лейтенанта Дьякова добавился орден ПНР «Золотой знак заслуги» а также награды польского отделения Общества европейской культуры.

Горизонтов Л. Е.

Иван Иванович Костюшко родился 31 июля 1919 г. Поступив в Московский государственный историко-архивный институт в 1938 г., он смог окончить его только в 1947 г., пройдя до этого фронтовые университеты в Красной Армии, а позднее в Войске Польском. В аспирантуре Института славяноведения АН СССР под руководством акад. Б. Д. Грекова в 1952 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Развитие капитализма и кризис феодально-крепостнических отношений в польской деревне. Царство Польское в 30-х — начале 60-х годов XIX в.» На эту тему И. И. Костюшко опубликовал ряд статей, принял также участие в написании многотомной «Истории Польши» (т. 2, 3).

В 1962 г. вышла в свет монография И. И. Костюшко «Крестьянская реформа 1864 г. в Царстве Польском», которую он в 1963 г. защитил как докторскую диссертацию. Аграрной проблематике посвящены многие другие публикации Ивана Ивановича, в том числе монография «Прусская аграрная реформа. К проблеме буржуазной аграрной эволюции прусского типа» (1989). Как ответственный редактор советской части редколлегии И. И. Костюшко много труда отдал изданию «Документов и материалов по истории советско-польских отношений» (т. 10—12).

Особо значимые страницы в творческой биографии И. И. Костюшко связаны с журналом «Советское славяноведение», который он возглавлял в качестве главного редактора от основания (1965) до 1987 г. В журнале и других изданиях им опубликовано несколько десятков статей по проблемам новой и новейшей истории Польши, русско-польских и советско-польских отношений, о традициях революционного и боевого содружества народов СССР и Польши.

С 1970 по 1988 г. И. И. Костюшко руководил сектором истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы периода общего кризиса капитализма. Под его руководством вышли в свет такие капитальные работы, как «VII конгресс Коминтерна и борьба за создание народного фронта в странах Центральной и Юго-Восточной Европы», «Очерки истории советско-польских отношений. 1917—1977» (совместно с польскими историками), «Боевое содружество советского и польского народов».

И. И. Костюшко на протяжении многих лет ведет плодотворную научно-общественную редакторскую работу: редактор многих сборников докладов советской делегации на Международных съездах славистов, ряда монографий, в составе редколлегии «Кратких сообщений Института славяноведения», сборника «Славяне и Россия», «Докладов советских историков на сессии Ассоциации славистических исследований Международного комитета исторических наук», президентом которой он является вот уже более десяти лет, неизменный организатор и участник внутрисюзных и международных форумов славистов и историков, член комиссии историков СССР и ПНР.

И. И. Костюшко — кавалер ордена Отечественной Войны 1 степени и ордена Дружбы Народов, дважды удостоен ордена ПНР «Серебряный крест заслуги», обладатель семи советских и трех польских медалей.

Зеленин В. В.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В 6-м номере журнала «Советское славяноведение» за 1988 год опубликовано выступление А. И. Рогова на круглом столе, посвященном тысячелетию христианизации Руси, в котором он полемизирует с высказанным мною якобы мнением «об отсутствии каких-либо следов в плане литературы, а также лингвистических контактов с западными славянами и через них соответственно с культурой Западной Европы» (с. 61). Это несомненное недоразумение: ничего подобного я не говорил. Мое выступление, вызвавшее полемические замечания А. И. Рогова, опубликовано в том же номере журнала, и из него должно быть видно, что я говорил об «отсутствии ясных языковых показаний» при наличии «историко-культурных свидетельств», указывающих на такие контакты (с. 32). Литературные контакты между восточными и западными славянами в древнейшую эпоху мне, разумеется, хорошо известны, и я специально рассматриваю их в своей недавно вышедшей монографии «История русского литературного языка XVI—XVII вв.» (§ 3.3.3.).

Успенский Б. А.

В ответ на письмо в редакцию журнала, направленное Б. А. Успенским, могу ответить, что не совсем точно воспринял на слух его выступление на круглом столе. Приношу за это соответствующие извинения. Действительно, я сказал в своем выступлении, что Б. А. Успенский «говорил об отсутствии каких-либо следов в плане литературы, а также лингвистических контактов и через них соответственно с культурой Западной Европы». Но повторяю, возможно этот тезис в устном выступлении мною неточно воспринят, тем более, что, как видно из печатного текста выступления, там прямо сказано «об отсутствии ясных языковых показаний» по этому вопросу.

Рогов А.

CONTENTS

<i>Girenko Ju. S.</i> Struggling for workers' interests (70 years of the Communist League of Yugoslavia). <i>Djakov V. A.</i> Liberal and liberal-democratic interpretation of the Slavic problem in Russian public opinion. A. D. Gradovskij (1841—1889) and A. N. Pypin (1833—1904). <i>Kulakowska D.</i> (Poland). The Slavic idea in Dostoevsky's works. <i>Bogomolova N. A.</i> Anna Akhmatova's translations of Polish poets of the XIXth century	3
---	---

FROM THE HISTORY OF SLAVIC STUDIES

<i>Gor'ainov A. N.</i> Slavic studies at the Moscow University (1917—1927): Slavic courses and the South and West Slavic cycle	51
--	----

TOWARDS THE VITH INTERNATIONAL CONGRESS OF BALKANISTS

Balkan «world image»: ethnolinguistic, cultural and historical aspects . . .	62
--	----

PORTRAITS

<i>Nevskaja T. V.</i> Stanislav Pavlovič Mikucki: his role in Slavic linguistics . .	80
--	----

COMMUNICATIONS

<i>Murjanov M. F.</i> Some 'corrections to the «Dictionary of Skorina's language»	86
---	----

PUBLICATIONS

<i>Florenskij P. A.</i> The Trinity Monastery and Russia	95
--	----

READERS' OPINIONS

The free field of science (review of letters)	107
---	-----

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

<i>Volokitina T. A. Ф. Носкова.</i> Крестьянское политическое движение в Польше. Сентябрь 1939 — весна 1948 г. <i>Popkov V. S., Kosik V. I.</i> Историография истории южных и западных славян. <i>Lescilovskaja I. I.</i> «Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і культури України. <i>Ivanova T. A. H. B. Коссек.</i> Евангелие Кохно. Болгарский памятник XIII в. <i>Pucko V. G. George P. Majeska.</i> Russian travelers to Constantinople in the fourteenth and fifteenth centuries	109
--	-----

NOTES ON BOOKS

<i>Naumov Je. P. J. Славева, В. Мошин.</i> Српски грамоти од Душаново време. <i>Bočkareva M. N.</i> Вера Лихачова. Етюди по средновековно изкуство: Византија / Българија / Русија. <i>Kudr' avceva E. P.</i> Лицеј 1838—1863. Зборник докумената.	119
--	-----

SCIENTIFIC LIFE

<i>Javorskaja G. M.</i> In the memory of an eminent slavist. Anniversaries. Letters . .	122
---	-----

Технический редактор *Е. В. Синицына*

Сдано в набор 11.04.89	Подписано к печати 31.05.89	А-09892	Формат бумаги 70×108 ¹ / ₄ .
Высокая печать	Усл. печ. л. 11,2	Усл. кр.-отт. 14,4	Уч.-изд. л. 12,7
	Тираж 1243 экз.	Зак. 2838	Бум. л. 4,0

Адрес редакции: 121069, Москва Г-69, Трублиновский переулок д. 30а.
 Телефон 290-27-40
 2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА АН СССР

ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ:

СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА XI—XVII ВВ. ВЫП. 15. 35 л. 2 р. 50 к.

В связи с выходом в свет Словаря древнерусского языка XI—XIV вв. особую ценность приобретает лексика памятников, не вошедших в состав источников этого словаря, и особенно лексический пласт XV—XVII вв.

Выпуск 15 Словаря русского языка XI—XVII вв. представляет собой фундаментальное исследование в области исторической лексикографии русского языка и содержит словарные статьи на ПЕРСТЬ — ПОДМЫШКА. Он составлен на основе Картотеки ДРС, новых изданий, не вошедших в состав Картотеки, рукописных источников Вологды, Воронежа, Перми, Смоленска, Рязани и др., «Материалов для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского.

Как и в предыдущих выпусках, словарная статья состоит из заголовочного слова, грамматической пометы, толкования и иллюстративного материала, извлеченного из памятников письменности русского языка XI—XVII вв. Особенностью словарного состава является то, что в данном выпуске представлена вся лексика, зафиксированная в источниках Словаря, с приставкой ПО-, а также почти половина лексического пласта с приставкой ПОДЪ-, предлоги ПО и ПОДЪ. Несомненный интерес для специалистов по русской исторической лексикологии представляют такие слова, как ПЕРСТЬ, ПЕЧАТЬ, ПИСАНИЕ, ПОВЕСТЬ и многие другие.

Издание предназначено для языковедов, литературоведов, историков, этнографов, археологов.

Словарь выйдет в свет в 1989 г. в издательстве «Наука».

Заказы просим направлять по одному из перечисленных адресов магазинов «Книга—почтой» «Академкнига»:

- 252030 Киев, ул. Ленина, 42;
- 197345 Ленинград, Петрозаводская ул. 7;
- 117393 Москва, ул. Академика Пилюгина, 14, корп. 2;
- 630090 Новосибирск, Академгородок, Морской пр-т, 22.